

Гюг Вестбери

**Актея**



# Гюг Вестбери

## Актея

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22599045](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22599045)*

### **Аннотация**

«На валу Мамертинской тюрьмы стояли молодой человек и девушка и смотрели на римский Форум.

Площадь кишела народом.

Из толпы доносился глухой гул; временами слышались радостные или жалостливые крики...»

# Содержание

Книга первая	5
Часть I	5
I	5
II	14
III	25
IV	36
V	47
VI	57
VII	68
VIII	79
IX	91
X	101
Часть II	110
XI	110
XII	121
XIII	130
XIV	142
XV	152
Книга вторая	163
Часть III	163
XVI	163
XVII	174
XVIII	186

XIX	196
XX	208
XXI	217
XXII	227
XXIII	239
XXIV	251
XXV	261
XXVI	272
XXVII	280
XXVIII	291
XXIX	302
XXX	313

# Гюг Вестбери

## Актея

### Книга первая

#### Часть I

#### Юдифь

#### I

На валу Мамертинской тюрьмы стояли молодой человек и девушка и смотрели на римский Форум.

Площадь кишела народом.

Из толпы доносился глухой гул; временами слышались радостные или жалостливые крики.

Форум был самое деловое место на земном шаре, однако там господствовала атмосфера спокойствия и рассудительности. Во времена Нерона еще не привыкли жить второпях – разве слуга спешил за своим патроном, шедшим в сенат, или беспокойные просители поднимались попарно по ступеням базилики.

Но за немногими исключениями римские граждане и их слуги считали утро достаточно длинным, чтобы не торопиться со своими делами.

Молодой человек, стоявший на валу, носил оружие и форму центуриона преторианской гвардии. Ему было лет двадцать. Он был высокого роста, широкие плечи, длинные руки и ноги показывали большую физическую силу. Чисто выбритое лицо с резкими характерными чертами, с плотно, но без всякого усилия сжатыми губами было волевым. Он не мог назваться красавцем; это был общий тип того времени, скорее выразительный, чем красивый.

Дух века еще более, чем суровая дисциплина римского войска, подавлял индивидуальность. Ненадежность существования, падение старой веры, новые учения, отчаянный разврат знатнейших представителей империи – все склоняло мыслящих людей к угрюмому фатализму, который отражался и на их лицах.

Впрочем, молодой центурион вовсе не думал об этих вещах. Равнодушно осмотрев Форум, он повернулся к девушке и зевнул:

– Стоит ли еще дожидаться, Юдифь?

Ни одна римлянка не обладала красотой этой еврейки. Ни у кого в Риме не было такого маленького овального лица, кожи белизны слоновой кости, высокого закругленного лба, тонкого носа с изящным изгибом от лба к подвижным ноздрям, больших блестящих черных глаз. Белая туника с широ-

кими рукавами достигала от шеи до пят. Поверх было надето открытое голубое платье, вышитое золотом на груди и вокруг шеи, спускавшееся сзади до земли и опоясанное широким платком более темного цвета. Черные волосы падали из-под тюрбана мелкими косичками, переплетенными лентами и украшенными подвесками; покрывало из материи, подобной газу, почти такой же длины, как платье, было широко, чтобы завернуться в него в случае надобности. В ушах блестяли серьги, шея была обвита ниткой жемчуга, руки украшены золотыми браслетами.

Но прежде, чем Юдифь успела ответить, с крутой дороги, ведшей в Капитолию, послышался гул приветственных криков.

Через несколько мгновений на Форуме показались носилки, которые несли шесть рабов в пунцовых ливреях. Занавеси носилок были отдернуты, так что были видны молодой человек и женщина, полулежавшие на белых подушках.

Голова мужчины была обнажена, на плечи накинута тога из тирского пурпура, которую мог носить только Цезарь. Он весело обмахивался женским веером из павлиньих перьев.

Женщина, сидевшая рядом, еще больше Юдифи отличалась от широколобых, полногрудых римлянок. Она была ослепительно хороша собой, но красива знойной красотой Востока, а не холодного, строгого Севера. Ее волосы, свитые кольцами на голове, были золотистого цвета, но глаза черные, огненные, полужакрытые, с лениво опущенными веками.

ми. Белая туника из тонкого шелка гармонировала с розовой кожей. Малиновое верхнее платье, усеянное большими золотыми звездами, было небрежно переброшено через плечо. Ноги ее и императора закрывало вышитое покрывало. Впереди носилок шли ликторы, расчищавшие дорогу.

Когда носилки проследовали мимо, центурион воскликнул:

– Вот правитель мира! – Но, обратившись к сенату, на ступенях которого стояли, разговаривая, двое людей, прибавил вполголоса: – Нет, я ошибся; вот он.

– Он не там и не там, – возразила девушка, и ее голос прозвучал музыкой в ушах молодого солдата.

– Где же он? – спросил он с ленивым удивлением.

– Над небесами. Земля – Его подножие, Его скиния в Салеме, Его обитель в Сионе, – прошептала девушка.

– Скажи-ка это прокуратору Кассию Флору, он живо вытащит его из этой обители, – засмеялся юноша.

Глаза Юдифи наполнились слезами и щеки покраснели.

Центурион, заметив, что обидел ее, поспешил сказать, глядя, на площадь:

– Цезарь остановился у ростры, пойдем посмотрим!

На нижнем конце Форума носилки императора наткнулись на погребальную процессию. Хоронили консула, и похороны были торжественны. Масса народа следовала за процессией и столпилась вокруг ростры, так что ликторы не могли сразу расчистить путь для носилок. Впереди шли бара-



банщики и флейтисты, за ними группа плакальщиц в белых одеждах, далее – толпа шутов и паяцев. Они смеялись над плакальщицами и перебрасывались шутками насчет умершего сановника с толпой. За ними ближайшие родственники покойного, все в черном, несли тело. Одетое в чистую тогу, оно лежало на носилках из слоновой кости, прикрытое покрывалом с золотым шитьем. Шествие замыкалось семьей и друзьями покойного и толпой в несколько сотен римских зевак, старавшихся убить время до начала игр в честь покойного патриция.

Процессия и жители столпились вокруг ростры, когда носилки Цезаря спускались по Виа Сакра. Тело было положено у подножия трибуны, на которую взобрался оратор, чтобы перечислить подвиги и прославить добродетели покойного. Время от времени его прерывали выходки шутов; всхлипывания женщин заглушались смехом толпы.

Даже ликторы чувствовали, по-видимому, почтение к знатному покойнику, так как расчищали путь для императора с меньшей грубостью, чем обыкновенно.

Как раз в ту минуту, когда носилки готовы уже были удалиться от ростры, оратор воскликнул:

– Он был подобен Катону...

– Как Энобарб Августу! – перебил кто-то из шутов.

Взрыв смеха раздался в толпе, а лицо Нерона посинело. Насмешка попала метко. Нерон не без основания стыдился своего обесславленного отца. Он сделал движение вперед и,

казалось, хотел выскочить из носилок, но его спутница схватила его за руку:

– Цезарь! Цезарь!

Он грубо отбросил ее руку. Пурпурное пятно появилось на том месте, где он схватил ее.

– Взять его! Собаки! – крикнул он ликторам, которые бросились в толпу за испуганным шутом.

Толпа заволновалась, плакальщицы подняли крик, оратор сошел с трибуны, родственники с неудовольствием столпились около трупа, и на некоторое время вокруг умершего сенатора поднялось столпотворение.

Между тем двое людей на ступеньках сената продолжали разговор. Один из них был Бурр, пожилой, лет шестидесяти, воин с резкими манерами и загрубевшим от непогоды, но открытым и добродушным лицом. Рядом с ним стоял знаменитый Сенека. Спокойное достоинство его позы и движений было величавым. На лице не проступала римская спесь, и, когда вельможи, проходя в Сенат или из сената, кланялись ему – одни почтительно, другие подобострастно, – он отвечал всем вежливо и дружелюбно. Он был тоже немолод, его коротко остриженные волосы, густые и курчавые, были седые, но тщательно расчесанные бакенбарды и усы – подбородок его был выбрит – еще не покрылись сединой. Резкий, орлиный профиль его смягчался ласковой улыбкой и странным, задумчивым выражением больших карих глаз. Лицо его было скорее печально, чем строго, и в сравнении с грубым ли-

цом солдата казалось дряхлее, чем было на самом деле.

Когда носилки Нерона двигались по площади среди при-  
ветственных кликов толпы, Бурр улыбнулся:

– Цезарь приобрел сердце народа, Сенека.

– Ты хочешь сказать – желудки, – возразил Сенека.

Это не было насмешкой, в голосе старика звучало сожа-  
ление.

– Да, – продолжал он, глядя на шумевшую чернь, – мы с  
тобой можем смело сказать это, старый друг. Мы слышали на  
этой площади такие же крики в честь Калигулы и Клавдия,  
а потом видели, как их статуи были низвержены и память их  
подвергалась оскорблениям.

Бурра как будто передернуло. Этот сильный человек чув-  
ствовал глубокое почтение к своему другу, но старался  
скрыть его, принимая покровительственный вид. Он был до-  
статочно умен, чтобы сознавать превосходство Сенеки, и оно  
по временам раздражало его. Сенека не испытал упоения  
битвы, не был прославленным полководцем. Тем не менее в  
таком трудном и опасном деле, как воспитание молодого им-  
ператора, доверенное им обоим, Сенека всегда играл глав-  
ную роль. Горький опыт убедил воина, что, когда он не мог  
ничего поделать с Нероном, Сенека легко справлялся с ним.  
Каким образом человек, которого Бурр мог бы убить ударом  
кулака, приобрел такую власть, оставалось для него тайной,  
и к его уважению к другу примешивалось: чувство суевер-  
ного страха. Тем не менее их соединяли искренняя дружба и

полное доверие; каждый чувствовал, что другой необходим ему в трудном деле, возложенном на них.

В глубине души Бурр так же не доверял характеру молодого императора, как и Сенека, но не в его характере было соглашаться с подобными взглядами.

– Нерон не Калигула и не Клавдий, – ответил он. Старый воин верил собственным аргументам. В эту пору он склонен был думать, что Нерон в самом деле идеальный император. – Ты забываешь, что мы были его воспитателями.

– Укротители тигра, – медленно произнес Сенека, – всегда убеждаются в конце концов, что тигр остался тигром.

– Положим, мать его действительно тигрица, – проворчал Бурр. – Хорошо, что ты заменил ее этой девушкой.

Сенека улыбнулся, а Бурр продолжал:

– Актея умная женщина.

– Когда женщина хороша собой, – возразил Сенека, – трудно сказать, умна она или нет. Пока Цезарь – ее раб, но наступит день, когда красота ее поблекнет, глаза потускнеют; что будет тогда, Бурр?

– Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему, – ответил воин строкой Горация. – Наше оружие блестит сегодня, стоит ли думать о том, что оно покроется ржавчиной завтра?

– Нам-то не стоит, – сказал Сенека, – но Риму и миру очень стоит. Кто ничего не боится, для того нет горя. Мы прожили свою жизнь, Бурр, несколько лишних лет, немного более власти или богатства для нас ничего не значат. Но

Рим не может умереть. В какое время приходится нам жить! Судьбы мира зависят от прихоти безумца и власти рабыни.

Бурр начинал чувствовать себя неловко. Стояла такая хорошая погода, Цезарь, казалось, был в духе, и Бурр чувствовал себя в отличном настроении. Но меланхолия товарища невольно передавалась и ему. Он тряхнул головой, как бы желая отогнать это дурное влияние, и направился вместе с Сенекой вниз по ступенькам.

– Семья Гонората, которого сейчас хоронят, – заметил Бурр, – устраивает сегодня игры в цирке. Пятьсот «больших щитов» сразятся с пятьюстами «маленьких щитов». Я пойду смотреть.

Выбор темы для разговора был крайне неудачен, так как Сенека, один среди всех своих современников, всегда осуждал возмутительную жестокость гладиаторских игр.

Потомство, – сказал он, – упрекнет меня во многом, но никогда не скажет, что я поощрял гнусный обычай, который превращает моих соотечественников в зверей.

Бурр, не обращая внимания на слова Сенеки, уже думал о предстоящей битве. Когда они подходили к трибуне, к своему великому удовольствию, он понял, что «маленькие щиты», за которых он стоял горой, одолеют.

Шум между тем вокруг трибуны все увеличивался, и Сенека, заметив в толпе красные ливреи и услышав бешеные крики Нерона, ускорил шаги. Бурр, который никогда ни от кого не отставал на поле битвы, теперь держался позади.

Сенека пробился сквозь толпу к императорским носилкам.

– Что случилось, Цезарь? – спросил он спокойно.

Нерон отшатнулся, избегая его взглядов, точно школьник перед разгневанным учителем, и в угрюмом молчании откинулся на подушки.

– Дорогу императору! – крикнул Сенека ликторам и, когда носилки тронулись в путь, указал Бурру на пурпуровую полосу на руке Актеи.

– Твой тигр, – сказал он, – может быть укрощен, но умеет и кусаться.

## II

Во дворце Цезаря на Палатинском холме была суматоха. День, так хорошо начавшийся, грозил печально кончиться. Нерон пришел в бешенство и страх. Какой-то негодный шут оскорбил его, и благодаря вмешательству Сенеки он ушел невредимым. Затем, когда носилки поднимались на Палатинский холм, орел – по крайней мере, Нерону показалось, что это был орел – сделал круг над дворцом и полетел на запад. В свите императора зашептали, что это отлетел гений фамилии. Наконец, на самых ступеньках дворца один из рабов оступился и чуть не выронил Нерона и Актею из носилок. Правда, в глазах Нерона это было даже хорошо – появилась жертва, на которой можно сорвать гнев. Но все понима-

ли, что наказание ничтожного раба не могло утолить ярость императора, и во дворце чувствовали тревогу.

Все, кроме Актеи.

На улице девушка держала руку так, что всякий прохожий мог видеть синяк. По прибытии во дворец она тотчас ушла в свою комнату, не удостоив императора ни единым словом или взглядом, и бросилась на ложе. Служанки, окружившие ее, хотели замазать синяк мазями и прикрыть пудрой. Но она не позволила. Тогда служанки натерли ей руку каким-то благовонным маслом, поправили платье, подложили под голову подушки и удалились.

Актея лежала, закрыв глаза и подложив одну руку под голову, тогда как другая, больная, лежала поверх покрывала. Спустя некоторое время в комнату вошел Нерон. Она услышала его шаги, и губы ее задрожали. Трудно было определить ее состояние: может быть, это была досада, может быть, радостное торжество.

Нерон велел наказать раба бичами в своем присутствии, и это смягчило его раздражение. В глубине души он стыдился своего поступка с Актеей и побаивался встречи с ней. Во всяком случае, он решил помириться, и для храбрости выпил цекубинского вина, гораздо менее разведенного водой, чем обыкновенно.

Актея лежала не шевелясь, когда он подошел к ложу и взглянул на нее.

Наконец он взял ее за руку. Она отдернула ее и восклик-

нула, открыв глаза:

– Разве боги сделали меня красивой для того, чтобы ты уродовал меня?

– Я только дотронулся до тебя, Актея, – сказал Нерон со смущенной улыбкой.

– Собака! – воскликнула она. – Твое прикосновение оставило бы пятно на самой Диане!

В самом деле Нерон походил на собаку, которая машет хвостом, когда ее гладят, рычит, если ее толкнуть, и лижет руки тому, кто ее бьет.

Сначала он пытался зарычать.

– Смотри, женщина, – сказал он, – Разве ты не видела крестов с рабами на холме или зверей на арене? Думаешь, меч не просечет твоей кожи, или что у тебя найдется противоядие против снадобья Локусты? Вспомни, раба, что я твой господин.

Актея закинула руки за голову, и грудь ее поднялась и опустилась под прозрачной туникой.

– Великий Цезарь, – сказала она, – соперник шутов и певцов! Храбрый Цезарь, оскорбляющий женщин! Честолюбивый Цезарь, который желает быть и будет бессмертным!.. Тиверий, – воскликнула она, вскакивая с ложа, – был государственный человек, Калигула – вскормлен на поле битвы, Клавдий – грозный император, но ты... ты раб, да, не я, а ты раб своей трусости, раб своих пороков.

В эту минуту Сенека и Бурр вошли в комнату. Лицо Се-



неки выражало сильное беспокойство, солдат же смотрел с восхищением на бесстрашную девушку.

Нерон смутился и молча вышел из комнаты.

– Клянусь богами, Актея! – воскликнул Бурр. – Тебе, а не мне следует быть начальником стражи.

– Мужество – добродетель, – заметил Сенека, – но не выходящая из добродетелей.

Бурра, видимо, раздражала привычка Сенеки морализировать.

– Я знаю только, что я бы не решился дать такой отпор тигру, – возразил он, – да и ты бы не решился, Сенека.

Сенека уселся на ложе и нежно, как отец, взял руку девушки.

– Актея, – сказал он, – я отыскал тебя среди виноградников и гранатовых деревьев Самоса, чтобы твоя красота избавила Нерона от когтей Агриппины. Дитя, я бы не хотел, чтобы твоя кровь пала на мою голову. Бурр очень ценит мужество, но я больше ценю мудрость.

Никто так хорошо не знал Сенеку, как Актея, и никто так не любил его. Их соединяло еще и то, что только они двое имели действительное влияние на Нерона. Она была обязана Сенеке своим величием, которое ценила больше жизни. Его дружба была для нее опорой, его совет – прибежищем, его участие – утешением.

С улыбкой отвернувшись, Актея взяла из рук служанки шитье и молча сделала несколько стежков. Потом, протянула

шитье Сенеке:

– Попробуй окончить узор.

– Не могу, – отвечал он.

– Это так легко.

– Но я никогда не учился вышивать, – возразил он.

– Так есть вещи, – сказала Актея со смехом, – которым даже Сенека может поучиться у женщины.

– Актея права, – заметил Бурр. – Оставь ее, Сенека, она сама сумеет окончить свой узор.

Сенека взял шитье из рук девушки и стал рассматривать его.

– Как мило, – заметил он, – но... – Он сильно дернул нитку и выдернул стежки, которые она только что сделала. – Как непрочно!

Актея слегка покраснела, а Сенека спокойно продолжал:

– Бешенство можно подчинить, но не исцелить бешенством. Пойду попробую сделать стежки покрепче.

Он пошел к Нерону, который в это время оканчивал свой обед. Вино привело его в благодушное настроение, и Сенека воспользовался благоприятным случаем, чтобы прочесть ему нравоучение о безумии и безнравственности гнева.

Сенека имел слабость к проповедям. Он не мог представить себе, чтобы философия и мораль, которые так захватывали его, могли показаться кому-нибудь скучными, и вследствие этого Нерону приходилось переживать много тяжелых Часов.

Сенека влиял на Нерона как воспитатель. Он был снисходительный воспитатель из-за политического расчета. Он давно убедился в неисправимой порочности Нерона и старался только, чтобы его правление причинило как можно меньше зол Риму и миру. Снисходя к частым безобразиям Нерона, он всеми силами удерживал его от вредных правительственных указов и действий. Поэтому он смотрел сквозь пальцы на распущенность императора, даже потакал ей иногда. Но как общественный деятель Нерон в течение многих лет оставался под руководством Сенеки превосходным правителем, справедливым, умеренным и хорошим политиком.

Возрастающее влияние развратной матери Нерона, Агриппины, впервые пробудило в Сенеке сомнение в мудрости его политики. Он слишком поздно убедился, что введенный его попечению тигренок сделался лукавым зверем, и по привычке педагога принялся прививать ему хотя бы элементарные понятия нравственности.

Изо дня в день Сенека проповедовал, а Нерон дремал, слушая его проповеди.

Временами император воображал, что он и его наставник – гладиаторы на арене: вот он повергает Сенеку наземь, приставляет меч к горлу, и шумная публика дает знак прикончить его, сжимая кулаки и опуская пальцы книзу. В такие минуты улыбка удовольствия мелькала на его лице, и Сенека воображал, что его проповедь достигла цели.

Должно быть, и теперь нечто подобное представилось ему,

потому что на лице появилось выражение удовольствия, и, когда Сенека кончил свою проповедь о гневе, он сказал:

– Спасибо, добрый мой Сенека. Я всегда буду помнить, какие бедствия влечет за собой гнев. А теперь, в доказательство моего раскаяния, я пойду помирюсь с Актеей и спою что-нибудь.

Он встал и пошел в комнату Актеи в сопровождении Сенеки и рабов, несших его арфу, зеленое платье, – лавровый венок и позолоченное кресло причудливой формы и отделки.

Подойдя к ложу Актеи, он сказал:

– Я пришел получить прощение.

Она отвернулась с лукавым кокетством и продолжала говорить с Бурром.

– Неужели ты хочешь видеть Цезаря на коленях? – жалобно произнес Нерон.

– Перед богами – да! – воскликнула Актея.

– Перед богами и перед тобой, чтобы получить прощение.

Она повернула к нему голову с ленивой негой, говоря:

– Оно твое, если ты заслужишь его.

– Я заслужу его, – воскликнул он весело, обращаясь к рабам, которые поставили его кресло возле ложа Актеи, подали ему арфу, накинули на него зеленую мантию и возложили ему на голову венок. Он был убежден, что не может оказать большей милости и доставить большего удовольствия людям, как позволив слушать свое пение. Он считал, что его

пение с избытком вознаградит Актею за синяк.

Голос его был красив от природы, но огрубел от пьянства и беспутной жизни. Он замечательно искусно играл на арфе, обладал тонким вкусом и вкладывал в свое исполнение неподдельное вдохновение. Вообще он был плохой император, еще худший человек, но хороший музыкант.

Актея всегда была рада, когда Нерон пел: она страстно любила музыку, да к тому же в эти минуты с Нероном легко было ладить. Сенека считал музыку безвредной забавой для тех, кто не может придумать ничего, лучшего, а увлечение Нерона – полезной слабостью, благодаря которой его можно направить к чему-нибудь путному. Но мужественный воин Бурр чувствовал величайшее отвращение к тому, что считал унижением для императора. Он рассказывал, что его тошнит, когда видит, как Цезарь бренчит на арфе, точно какой-нибудь жалкий греческий музыкант. Когда Нерон уселся в свое позолоченное кресло и тронул струны арфы, Бурр выскользнул из комнаты.

Раздумывая, что сыграть, Нерон легко перебирал струны. Наконец он выбрал плач Андрوماхи, когда она видит с троянской стены тело Гектора, которое тащит колесница Ахилла. Он начал с того места, где Андрوماха слышит крик Гекубы. Полным звучным баритоном он запел:

И Андрوماха из терема бросилась, будто Менада,  
С сильным трепещущим сердцем и обе прислужницы

следом;

Быстро на башню взошла и, сквозь сонм пролетевши народный,

Стала, со стен оглянулась кругом и его увидала  
Тело, влачимое в прахе; безжалостно бурные кони  
Полею его волокли к кораблям быстролетным Ахейн.  
Темная ночь Андромахины ясные очи покрыла;  
Навзничь упала она и, казалось, дух испустила...

Он пел, и страстная скорбь Андромахи звучала в его голосе. Когда он дошел до того места, где сирота взывает к друзьям Гектора, слезы брызнули из глаз и голос его прервался. Это не было притворство, это было неподдельное волнение.

Сенека с любопытством следил, за ним и, когда он кончил, разразился громкими аплодисментами.

– Это грустная песня, – сказал Нерон, вытирая глаза рукавом по обычаю певцов.

Когда он поднял руку, Сенека заметил темное пятно на его одежде.

– Что это такое, Цезарь? – спросил он.

Нерон взглянул на пятно.

– Ах, негодяй! – воскликнул он. – Его следует еще раз выпороть.

Сенека взглянул на него вопросительно.

– Одни из носильщиков чуть не выкинул из носилок меня и Актею, и я велел высечь его. Жаль, что тебя не было при этом, Сенека. Он извивался, как червяк, и рычал, как собака,

а когда бич опустил­ся, кровь брызнула струйками...

– Зверь! – воскликнула Актея. – Довольно!

Девушка задрожала и поблед­нела как полотно.

– На тебя сегодня трудно уго­дить, Актея, – сказал Нерон, нахму­рившись.

Вдруг он вскочил, схватил ее на руки и закружился с ней по комнате как бешеный, подбрасывая ее точно ребенка. Потом схватил ее за горло.

– Я мог бы задушить ее, Сенека! – крикнул он. – Она моя, и я мог бы задушить ее, как цыпленка.

Сенека вздрогнул, но Нерон с хохотом опустил Актею на ложе, осыпал ее поцелуями и бросился вон из комнаты.

Он отправился в помеще­ние с бассейном. В комнате, служившей для раздевания, он бросился на скамью в ожидании рабов, которые должны были раздеть его. Это была великолепная комната, окруженная мраморными пилястрами, в промежутках между которыми стены были украшены лучшими образцами греко-римского искусства. Потолок со сводами был разукрашен золотом и сло­новой костью, мягкий свет лился сквозь высокое окно с разноцветными стеклами. Под окном находилась скульптурная маска, изо рта которой била струя воды в серебряный бассейн. Массивная серебряная лампа спускалась с потолка, вдоль стен стояли мраморные скамьи. На столе из драгоценного мавританского кипариса красовались золотые и алебастровые фиалы с благо­вониями и душистыми маслами.

Нерон, бросившись на скамью, еще переводил дух и смеялся, когда занавеска у двери отдернулась и вошел молодой человек, с красивым, но женственным лицом и стройной фигурой.

– А, Тигеллин, добро пожаловать! – воскликнул Нерон. – Что нового? Есть ли какая забава на сегодня?

– Никакой, – отвечал Тигеллин, – разве вот что: сенатор Юлий Монтон отправляется сегодня в Вейн и вечером будет переходить через Мильвийский мост.

– И ты говоришь, никакой! – воскликнул Нерон, вскакивая и хлопая в ладоши. – Какой же тебе еще забавы! Тигеллин, мы подстережем сенатора! Как высокомерно он прикрикнет на нас, когда мы его остановим! Как будет стараться сохранить свою важность, когда мы нападём на него! Знаешь, Тигеллин, я хотел бы, чтобы все они имели одну голову и я бы мог свернуть ее! Ах, это веселит меня!

– Ты что-то задержался сегодня, – сказал Тигеллин.

– Сенека был здесь, – отвечал Нерон, с досадой пожимая плечами.

– Старый зануда! – воскликнул молодой человек.

– Я только велел высечь раба, – сказал Нерон, – и за это он целый час читал мне проповедь. Кроме того, какой-то шут оскорбил меня на улице (лицо Нерона омрачилось), и Сенека позволил ему уйти безнаказанным. Если бы ты был императором, Тигеллин, допустил бы ты такое нахальство?

– Допустил бы я командовать надо мной писаку, школь-



ного учителя, если б был потомком бессмертного Юлия, божественного Августа? – Тигеллин поднял руки в знак немого отрицания. – Нет, – продолжал он, – я бы выбирал в советники молодых, красивых, веселых., блестящих...

– Таких, как ты, – насмешливо перебил Нерон.

Тигеллин слегка сконфузился.

– Ну, – сказал император, – сегодня я чувствую себя медведем. Превратимся в медведей, Тигеллин, и на охоту!

Он кликнул рабов и велел им принести медвежьи шкуры и маски. Надев эти костюмы, молодые люди пустились на четвереньках по комнатам, кусая и царапая несчастных рабов, которых удавалось поймать.

Утомившись, они вымылись и пообедали вместе, причем много ели и еще больше пили. После этого рабы принесли длинные плащи и парики; Нерон и его любимец надели их и, выйдя из дворца, отправились к Мильвийскому мосту.

### III

Недалеко от вершины Квиринальского холма стоял простой, но прочной постройки одноэтажный дом. На плоской крыше, над комнатами, выходившими в атриум или центральную залу, был устроен красивый садик. Стены, защищавшие его от посторонних взоров, так же как и беседка, находившаяся в дальнем конце от улицы, были обвиты виноградом. На клумбах росли высокие лилии и розы, окружен-

ные яркими ирисами.

Наступил вечер, яркая луна озаряла сад, когда двое людей, мужчина и женщина, поднялись на крышу из атриума, прошли между цветущими клумбами и остановились у беседки.

Некоторое время они молча вдыхали аромат цветов, разносившийся далеко по улице.

– Не могу понять твоего беспокойства, Юдифь, – сказал мужчина, продолжая прерванный разговор. – Твой отец пользовался милостью Клавдия и заслужил ее. Ему удалось предупредить восстание евреев во время Феликса. Наверное, Нерон не забудет услуги, оказанной Империи.

– Неужели кто-нибудь может ожидать благодарности от гордых идолопоклонников Рима? – пробормотала Юдифь. – Они живут только убийством и кровью.

– Напрасно ты так отзываешься о моих соотечественниках, – возразил воин, – да и своих, ведь ты родилась в Риме, а твой отец римский гражданин.

– Позор сыну Давидову, – воскликнула она, – вошедшему в семью чужеземцев!

– Нет никакого позора, Юдифь, – гордо возразил центурион, – сделаться приемным сыном Рима.

– Может быть, тут нет позора для британского варвара, для несчастного галла, для низкопоклонного грека, для подлого финикиянина, но позор для сына Израиля. Владыка небесных сил, – воскликнула она в страстном порыве, – вел

моих отцов, когда лягушки квакали на площадях Рима и волны плескались о его холмы.

Страстные слова Юдифи всегда забавляли и немного раздражали центуриона.

Он понимал, что слова «я – римский гражданин» могли произноситься с гордостью. Он не удивлялся тому, что соотечественники Арминия, разбившего Вара и боровшегося против всей римской силы, могли гордиться своей родиной. Он мог воздать должное и парфянам, завоевавшим Персию, унизившим Армению и отражавшим самих римлян, но иудейский народ, насколько было известно центуриону, не мог гордиться своей родиной. Он был сродни несчастным карфагенянам, похороненным Сципионом двести лет тому назад; он выстроил крепкий город и красивый храм, в котором, как говорили, находилось изображение осла, и, когда ой пытался упорствовать в своих смешных и нечестивых обычаях, прокуратору ничего не стоило усмирить его при помощи нескольких центурий. Два-три раза они восставали и защищались с яростью, но, по мнению центуриона, все варвары могли случайно выходить из себя, и он не чувствовал уважения к подвигам восточного фанатизма.

Юдифь гордилась своим происхождением от какого-то еврейского вождя, Авраама, как мог бы гордиться центурион родством с Юлием Цезарем. Отец ее был смиренный старик, готовый пресмыкаться перед последним рабом; впрочем, проницательный воин считал это смирение притвор-

ством. Как бы то ни было, отцу Юдифи удалось достичь влиятельного положения.

Еврей Иаков, имя, под которым он был всюду известен, подобно многим из своих соотечественников явился в Рим в царствование Тиверия. Рим был важнейшим торговым центром в мире, и Иаков нашел в нем прекрасное поле для своей деятельности. Он торговал драгоценными камнями, продавая их знатным римским дамам. Ему удалось заслужить расположение императрицы Агриппины, доставив ей драгоценности, которых добивалась ее соперница, Лоллия Паулина. Благодаря влиянию Агриппины он был послан для умиротворения евреев, которые подняли восстание из-за бестактности прокуратора Феликса, а вскоре затем получил право римского гражданства. Деньги, добытые торговлей, он пускал в рост и нажил большое состояние. В то время он был единственным евреем в Риме, жившим за пределами еврейского квартала, кишевшего голодными тряпичниками, разносчиками, резкие крики которых нарушали сон граждан, и нищими, которые собирались обыкновенно на Тибрских мостах, возбуждая сострадание прохожих своим жалким видом и лохмотьями.

Еврей Иаков, агент. Клавдия и фаворит Агриппины, жил в стороне от этого мира. Получив право римского гражданства, он стал избегать общества своих соотечественников и даже не показывался в синагогах. Строгие блюстители еврейского закона называли его отступником и идолопоклонни-

ком, но так как всем было известно, что значительная часть его доходов идет на поддержку бедного еврейства, то никто не предлагал подвергнуть его высшей степени наказания – отлучению от синагоги. Набожные сыны Израиля сожалели о своем соотечественнике, клали в карман его деньги и благодарили Бога за то, что они не таковы, как он.

Но Юдифь пылала ревностью к вере своих предков. Отец старался найти ей подруг среди молодых римлянок, но она избегала их. Ему было бы приятно, если бы она носила римское платье, но она нарочно носила еврейскую одежду. В ее глазах последний еврейский нищий был знатнее всех цезарей; она презирала римских идолопоклонников и избегала, как заразы, общения с язычниками.

Тем не менее теперь она сидела с центурионом преторианской гвардии в беседке, обвитой виноградом. Зачем она с ним сидела – этого прекрасная еврейка и сама не могла бы объяснить.

В беседке стояла низенькая деревянная скамья, на которую можно было прилечь, опершись левым локтем на подушку, приспособленную для этой цели. Перед скамейкой находился круглый стол, грубо сколоченный гвоздями, и деревянный стул.

Центурион сидел на скамейке, а Юдифь по другую сторону, стола на стуле. Она охватила руками колени и слегка покачивалась взад и вперед; при ярком лунном свете лицо ее казалось выточенным из слоновой кости.

– Я не боюсь, – сказала она после молчания, – я только предвижу будущее. Лицо Всемогущего отвортилось от моего народа, и черные дни грозят дому моего отца. Стены Сиона были высоки, их охраняли сильные воины, молились жрецы и жертвенный дым восходил к небесам, и все это не спасло от плена. Как же может одинокий старик спасти свою жизнь и имущество в доме чужеземца?

– У тебя есть друзья, Юдифь, – сказал центурион.

– Правда, – отвечала она, бросая на него ласковый взгляд, – но есть опасности, против которых твоя рука бессильна, друг мой.

– Я римский воин, – воскликнул молодой человек, – мой отец носил небезызвестное имя, и я сам имею шрамы от ран, полученных за Рим; моя рука была в силах защитить тебя в Субуре...

– Помню, помню, Тит! – воскликнула девушка. – Я несла еду больным детям в дом раби Каиафы. На душе было тяжело, казалось, что все несчастья, которые приходилось выносить израильтянам, ничто в сравнении с бедствиями, которые обрушились на головы моих братьев и сестер в Риме. Я видела нищету, позор, унижение. Двое братьев, в жилах которых течет кровь пророка Давида и великого царя Соломона, грызлись из-за какой-то кости, точно собаки. Неужели ты остался бы равнодушным, если бы увидел сыновей гордых Цезарей униженными, оборванными, голодными, поте-

рявшими образ человеческий, утратившими все, что приличествует избранному народу, думающими только о крохах, которые можно вытребовать или вымолить у римлянина!

Еврейка опустила голову; блеск ее локонов при свете луны был подобен серебряному шитью на траурном платье.

– Я думала обо всем этом, – продолжала она, – как вдруг какой-то юноша, обвитый гирляндами из роз, бросился ко мне, схватил за руку и стал говорить слова, которые неприлично слушать еврейской девушке. Я оттолкнула его, он упал и закричал, что еврейская колдунья напала на него! Поднялся шум, меня окружили, десятки рук протянулись, чтобы меня схватить. Я взмолилась к Всевышнему, и Он услышал меня и послал избавителя. Это был ты. И, может быть, наступит день, когда сын Давида воссядет на престоле Давидовом, и мир преклонится перед мощью Израиля, тогда римский солдат получит награду за свое мужество.

Молодой центурион как бы сквозь сон слушал эти слова, упиваясь музыкой голоса. Из всего монолога он понял только последнюю фразу и понял так, что ему придется дожидаться награды до тех пор, пока еврей Иаков сделается царем иудейским и поведет еврейские легионы на Рим. Это показалось ему слишком отдаленным, и он встал и сказал с той застенчивой нежностью, которая всегда кажется комичной в рослом, сильном мужчине:

– Я не могу так долго дожидаться награды, Юдифь.

Они вышли из беседки, когда он говорил эти слова.

Юдифь взглянула на него с удивлением.

– Каким же образом может еврей вознаградить любимого воина Цезаря? Правда, мой отец богат, может быть, воин желает украсить себя драгоценностями?

Тит никогда не отличался сообразительностью, а теперь был так погружен в свои размышления, что не заметил насмешку в словах Юдифи. Он собрался и решительно ответил:

– У твоего отца есть драгоценность, за которую я готов отдать мою жизнь.

Всякая женщина поняла бы смысл его слов.

Юдифь отступила с удивлением на лице.

Хотя ей нечему было удивляться. Уже не первый раз сидели они в этой беседке, но Юдифь не хотела замечать любовь центуриона и потому сделала вид, что удивилась, услышав признание. Огорчение ее было искреннее. Ее руки задрожали, и некоторое время она не могла выговорить ни слова. Наконец она воскликнула:

– Нет, нет, нет! Этого никогда не будет! Это было бы бесчестьем для тебя и позором для меня!

– Бесчестьем! Позором! – повторил Тит с изумлением. – Юдифь, ты меня не любишь!

Девушка стояла молча и неподвижно, но глаза ее затуманились и краска сбежала с лица. Движением, полным достоинства, она закрыла лицо покрывалом.

Я люблю тебя, Юдифь! – сказал молодой человек,



несколько ободрившись. – И если ты любишь меня хоть немного, что может помешать нашему браку?

Несколько мгновений девушка, казалось, боролась сама с собой, но наконец, как будто стыдясь своей слабости, отбросила покрывало и взглянула на воина.

– Я люблю тебя, – сказала она, – да, люблю. Когда я увидела тебя, мое сердце было свободно, но ты овладел им, и оно будет полно тобою, пока не перестанет биться. И все-таки мы не можем соединиться.

– Но почему, Юдифь, почему?

– Дочери царей не выходят за нищих! – воскликнула она. – И дочь Израиля не может выйти за идолопоклонника! Отвергни свои кумиры, преклони колени перед Единым, посоветуйся с мудрецами моего племени, и тогда, быть может...

– Как! – воскликнул центурион вне себя от удивления. – Мне сделаться иудеем, изменить присяге, поклониться иерусалимскому ослу!..

Он не хотел быть грубым и не сознавал, что его слова оскорбительны. Он был римлянин, и мысль сделаться иудеем казалась ему нелепой.

Презрительная улыбка мелькнула на губах Юдифи.

– Конечно, – сказала она, – это слишком великая плата за такую жалкую награду.

Тит не мог понять, что он оскорбил Юдифь как еврейку, но понял, что его презрительный отказ от ее предложения

оскорбил ее как женщину. Он поспешно сказал:

– Никакая плата не велика за такую награду, но... но есть вещи, которых даже любовь не может исполнить.

– Ты прав, Тит, забудем об этом, как о мимолетном сне. Это был только сон, потому что я прочла нашу судьбу.

Юдифь взглянула на небо, а Тит повторил вполголоса:

– Прочла нашу судьбу? Скажи, Юдифь, правда ли, что твои соплеменники могут предсказывать будущее? Я знаю, девушки из еврейского квартала часто гадают нашим дамам, но всегда думал, что это только способ добывать деньги.

Юдифь улыбнулась.

– Разве тебе не случалось читать в глазах того, кого ты любишь, то, что тебе хочется знать. Звезды – Глаза Бога, и тот, кто любит Его, может читать в них свою судьбу.

Тит, как и большинство грубых римлян, был суеверен. Он взглянул на Юдифь с некоторым страхом и боязливо прошептал:

– Прочти же нашу судьбу.

С минуту она стояла молча, потом, подняв руку к небу, сказала:

– Я вижу путь, на который мы оба вступили. Смотри! Он широк и прекрасен и озарен блеском благоприятных звезд. Мы еще стоим на нем. Но скоро он разделится: одна дорога моя, другая – твоя. Одна направляется в беззвездную часть неба, другая идет среди красноватых звезд, которые предвещают опасности, войны, пылающие города. Над ней горит

небесный залог победы; она кончается у подножия трона. – Голос Юдифи становился все тише и тише. – Я не знаю, которая из дорог моя, которая – твоя. Одно время я думала, Господь освободит свой народ рукой своей рабы, как некогда Он освободил его рукой древней Юдифи. Я думала, победоносное войско пойдет за огненным столбом и сокрушит гордость язычников. Но, быть может, я ошиблась; быть может, мне суждена безвестная и темная дорога, а тебе победный меч и путь славы; быть может, твой народ снова останется победителем и разметет в прах стены Сиона. Наша судьба в руках Господа, и пути Его неисповедимы. Я знаю одно: скоро наши дороги разойдутся.

Прежде чем Тит успел ответить на это, взрыв смеха раздался на улице. Потом послышались звуки отпираемого засова, и через мгновение наружная дверь с треском распахнулась.

Юдифь и Тит поспешили к лестнице; навстречу им выбежали из атриума двое людей. Один бросился на Тита, другой, нетвердо державшийся на ногах, хотел схватить девушку.

Противник воина обладал, по-видимому, большей смелостью, чем силой, потому что центурион без всякого усилия схватил его поперек туловища, поднял на воздух и переброшил через парапет на улицу. Потом он кинулся к его товарищу и сильным ударом ноги сбросил его с лестницы.

Нападавший вскочил на ноги и выбежал на улицу. Тит бросился за ним, не слушая предостерегающих криков Юди-

фи, и у входных дверей наткнулся на дюжину вооруженных рабов.

## IV

На Мильвийском мосту оживленное движение не прекращалось до позднего вечера. Тут можно было видеть рабов, спешивших с письмами от своих господ, живших в виллах, к их городским знакомым; повозки с товарами, приезжих из Галлии, Германии и даже Британии; патрициев, поспешавших в закрытых носилках на любовное свидание за город, солдат, нищих, выпрашивавших мелкую монету.

Но сенатор Юлий Монтан почему-то не показывался. Нерон и Тигеллин беспокойно расхаживали взад и вперед, ожидая каждую минуту увидеть яркие ливреи рабов сенатора и услышать повелительные голоса, приказывающие очистить дорогу для его носилок. Нерон был в восторге от предстоящей забавы. Он условился с Тигеллином о роли каждого. Нерон должен был схватить жену сенатора, а Тигеллин бросить в Тибр, его самого. Тигеллин привык к такому разделению труда, благодаря которому на его долю доставались побои, тогда как император срывал поцелуй. Впрочем, он был по-своему философ, понимая, что путь славы всегда усеян шипами, и надеялся, что рано или поздно наступит день, когда он будет получать поцелуи, а кто-нибудь другой – удары.

Когда наступила ночь, а жертва еще не показывалась, ве-

селость Нерона исчезла. Он злился на Тигеллина за обман и говорил, что заставит его биться с Спициллом, знаменитым начальником рециариев – гладиаторов, вооруженных трезубцем и сетью, которую они старались набросить на противника. Эта мысль снова развеселила Нерона.

– Это будет прекрасное зрелище, Тигеллин, – говорил он. – У тебя длинный щит, от которого твоя левая рука скоро устает. Спицилл выступает против тебя с трезубцем, и каждый удар его повергает тебя в озноб. Наконец ты приходишь в бешенство, твои глаза горят, лицо наливается кровью, сердце бьется, голова кружится, Пена выступает на твоих губах, ты замахиваешься кинжалом и бросаешься на Спицилла; но он ожидал этого, подобно внезапному ливню из грозовой тучи; летит его сеть, она обвивает тебя, твои руки и ноги запутались, ты падаешь – тогда светлый и блестящий как молния трезубец рассекает воздух и... Ах! Бедный, как мне жаль тебя!

И Нерон, увлеченный живописью собственного воображения, зарыдал над гибелью друга.

Тигеллин привык к причудам Нерона и вовсе не думал, что его царственный покровитель всерьез намерен заставить его биться в цирке. Тем не менее подробности картины, нарисованной Нероном, повлияли на него очень неприятно.

В эту минуту на мосту показался худощавый, длинноногий юноша в коричневой тунике, с деревянными табличками

в руках. Это был посол с письмом.

Тигеллин, обратившись к императору, сказал:

– Этот молодой человек очень торопится, Цезарь.

Нерон ответил взглядом, показавшим, что он понял намек, и немного отошел от своего собеседника, так что мальчик должен был пробежать между ними. Едва он поравнялся с ними, Тигеллин подставил ему ногу, а Нерон сильно ударил по левой руке. Таблички упали, и бедняк растянулся на мосту. Прежде чем он успел опомниться, двое грабителей схватили его и перебросили через перила в Тибр. Было невысоко и недалеко находилась мель, так что если он умел плавать, то мог спастись. Впрочем, Нерон и Тигеллин не интересовались его дальнейшей участью.

Нерон схватил таблички и принялся рассматривать их, когда на реке послышались крики о помощи. Очевидно, мальчик доплыл до мели. Нерон и Тигеллин пустились бежать; за ними на некотором расстоянии следовала толпа вооруженных рабов, без которых император не пускался на ночные подвиги, после того как несколько раз подвергался опасности, а однажды едва ушел живым.

Пробежав немного по Фламиниевой улице, они свернули в узкий переулок, ведущий на вершину Пинцийского холма, и скоро скрылись из виду в зеленых садах, раскинувшихся на холме и по его склонам. Поднявшись на холм, они спустились в долину между ним и Квириналом к великолепному саду Саллюстия.

Тут, задыхаясь и изнемогая от усталости, Нерон бросился на траву под густой изгородью из остролиста, а Тигеллин сел рядом. Один из рабов имел при себе бутылку вина и в ответ на свист Нерона подошел к ним и подал два кубка с цекубинским.

Отдохнув и освежившись, Нерон взял таблички и внимательно осмотрел их при ярком свете луны. Таблички состояли из двух половин, сложенных вместе, и письмо было написано на воске. Они были обвязаны красной ниткой, узел которой скреплен восковой печатью. Адрес, по-видимому, был написан углем.

Нерон повернул таблички так, чтобы свет падал на печать. Вдруг он отбросил их, вскрикнув как ужаленный.

– Не укусила ли тебя змея, Цезарь? – воскликнул Тигеллин, вскакивая в беспокойстве.

– Нет, – ответил император, поднимая таблички и боязливо держа их за уголок, – это письмо от Сенеки, его печать! – И бросив опять письмо, он прибавил со стоном: – Письмо к Бурру.

– Только-то? – засмеялся Тигеллин.

– Только-то? – повторил Нерон полугневно-полусмущенно – Только-то! Да разве этого мало?.. Да что! Я лучше согласен драться с шестью александрийскими крокодилами, которых завтра выпустят в цирке против шести нумидийских львов, чем слушать проповедь, которую Сенека прочтет мне завтра за мои сегодняшние похождения. О! Мне кажется, я

уже слышу его. И Нерон, передразнивая важный и медленный испанский акцент Сенеки, повторил: – Тот, кто любит зло, уподобляется бешеному зверю. Пьяный делает многое, чего сам устыдится в трезвом виде. Можно положить предел пьянству, обжорству и – сребролюбию, но жестокость заставляет молчать самую философию. Как может правитель ожидать добра от подданных, если сам подает им пример разврата? Отвратительно и безумно вечно неистовствовать и убивать!

Нерон катался по траве, повторяя афоризмы своего наставника и проклиная Сенеку, Тигеллина, письмо и свою неосторожность.

Тигеллин смотрел на него с презрительным сожалением.

– Что же ты думаешь предпринять, Цезарь? – спросил он.

Не отвечая на вопрос, Цезарь продолжал передразнивать Сенеку, пересыпая его афоризмы своими проклятиями.

– Мстительность – болезнь ничтожной души!.. Клянусь Геркулесом, я хотел бы видеть его на кресте! Дурные слова, как стрелы на взлете: они бьются о нашу броню, но не пробивают ее. Будь ты проклят, Тигеллин! Ссоры недостойны благородного духа. Хоть бы перуны Юпитера сожгли проклятое письмо! Доброе сердце ничему не желает зла! Собака, – вдруг повернулся он к рабу, – ты пролил вино, смотри, чтобы я не пролил твою кровь!

Тигеллин почувствовал к Нерону искреннюю жалость. Он приподнял Нерона, усадил его и сказал:



– Цезарь, мы не можем оставаться здесь всю ночь, вставай и пойдём домой. Дай мне письмо. Я пошлю его Бурру, ничего умнее не придумаешь.

Нерон встал и в припадке пьяной веселости взмахнул табличками и запустил их в Тигеллина. Тот поймал письмо на лету и, отдав его рабу, велел беречь как зеницу ока. Затем они поднялись на Квиринал и молча направились по улице. Проходя мимо дома еврея Иакова, Нерон услышал возбужденный голос Юдифи, доносившийся с низкой крыши. Новая затея мелькнула в его пьяной голове, и, вырвавшись из рук Тигеллина, он подбежал к двери, просунул стальную отмычку между ее створками с ловкостью профессионального мошенника и ловким поворотом отворил засовы. Лунный свет, попадавший в атриум, указывал дорогу; они взбежали по лестнице в сад, и минуту спустя Тигеллин полетел на улицу, а Нерон, скатившись с лестницы, обратился в бегство, призывая свистом своих телохранителей.

Юдифь с первого взгляда узнала в нападавшем молодого человека, которого она видела утром в носилках на Форуме. Но Тит, взбешенный оскорблением, которое какой-то негодяй осмелился нанести Юдифи, не обращая внимания на ее крики, пустился за беглецом, успел дать ему несколько тумачков вдогонку и в сенях наткнулся на рабов. Двое из них покатались на пол под ударами железных кулаков центуриона, третий, огромный нубиец, по-видимому, начальник отряда, получил удар ногой под колено, от которого отлетел

шагов на десять. Если бы Тит был так же благоразумен, как смел и силен, он легко мог бы укрыться в доме, потому что рабы попятились перед кулаками, которые, казалось, могли убить быка. Но центурион вовсе не думал об отступлении, он во чтобы то ни стало хотел наказать наглеца, оскорбившего Юдифь.

Нерон, выбежав на улицу, остановился на безопасном расстоянии. Увидев, что рабы отступили, он разразился ругательствами и угрозами, приказывая схватить молодого воина. Услыхав его голос, Тит с бешенством бросился на рабов, свалил еще нескольких, когда тяжелый удар в голову, нанесенный сзади, поверг его на землю без чувств.

Тигеллин, брошенный с крыши, сильно ударился, но кости его остались целы. Он лежал на улице, растирая ушибленные места, проклиная императора и свою неудачу, пока рабы тщетно старались схватить центуриона. Последний обернулся к нему спиной, и лежавший в тени дома Тигеллин не мог быть им замечен. Видя, как рабы валялись под ударами взбешенного воина, он почувствовал облегчение и втайне надеялся, что и Нерону придется испытать силу рук, сбросивших его, как ребенка, с крыши.

Но когда рабы уже готовы были обратиться в бегство, Тигеллин увидел недалеко от себя лом. Он быстро сообразил, что император будет более благодарен за помощь, оказанную своевременно, чем после того как получит трепку от центуриона, и, собравшись с силами, встал, схватил лом и, под-

кравшись сзади к центуриону, нанес ему удар по голове.

К счастью для Тита, Тигеллин отличался скорее изобретательностью в безобразных потехах, чем физической силой. Тем не менее удар был настолько силен, – что центурион лишился чувств. Рабы немедленно связали его.

Нерон, почти протрезвевший от испуга, подошел к месту драки.

Император сознавал, что роль его была не из славных, и, чтобы скрыть смущение, приняв вид величественного достоинства и толкнув ногой центуриона, воскликнул:

– Он надавал мне пинков, Тигеллин. Он должен умереть!

Тигеллин чувствовал уважение к закону: это была одна из самых замечательных черт римского характера. Совершенный бездельник, гуляка и буян – он принимал без рассуждений традиции римской администрации и преклонялся перед решением самого мелкого должностного лица. Он знал, что вытолкать из своего дома нахала не считалось уголовным преступлением, и он, который собирался бросить в реку сенатора, был смущен при мысли о незаконном убийстве неизвестного человека на улице.

– Он заслуживает смерти, – сказал он уклончиво.

– И будет казнен, – прибавил Нерон.

– Конечно, – возразил Тигеллин, – когда суд разберет его дело, то найдет его достойным смерти.

– Суд! Дело! – закричал Нерон. – Дурак! Кто я, Цезарь или разносчик? Я тебе говорю, что он поколотил меня, и я

велю его сечь, пока он не лишится чувств, а затем отрубить ему голову.

– Мы не знаем еще, кто он такой, – отвечал Тигеллин, – торопиться, во всяком случае, ни к чему.

– Вынесите его на свет! – крикнул Нерон рабам.

Они тотчас вытащили центуриона на освещенное луной место.

Император наклонился к нему и радостно воскликнул:

– Посмотри, посмотри, благоразумнейший и осторожнейший Тигеллин!

Любимец взгляделся в бесчувственное тело.

– Центурион! – воскликнул он.

– Да, центурион, – сказал Нерон, – а я император! Я сегодня же отомщу ему.

Тигеллин знал, что Нерон как император пользовался неограниченным правом жизни и смерти над воинами, и все его возражения отпадали сами собой. Но, взглянув еще раз на воина, он сказал:

– Цезарь, это центурион преторианской гвардии, сечь его было бы неблагоприятно.

Сила и гордость преторианской гвардии уже в эти ранние времена Империи являлись источником постоянного беспокойства для гражданских властей, и Нерон не был сумасброден настолько, чтобы возбуждать против себя это буйное и непокорное войско.

– Преторианец! – повторил он угрюмо. – Несите его в Ма-

мертинскую тюрьму.

Тут им внезапно овладел порыв. Он схватил за руку Тигеллина и зашептал:

– Нет, лучше мы не будем сечь его. Но правосудие должно быть удовлетворено, кто-нибудь должен быть высечен. Счастливая мысль! Мы отрубим голову этому воину, а высечем тебя. Ни слова, Тигеллин, не нужно благодарности. Я знаю, что ты будешь рад оказать эту маленькую услугу своему другу! Что значит боль и самая смерть для нас, римлян, когда государство, правосудие, дружба взывают к нам! Ты счастливец, я сделаю тебя бессмертным. Лукан прославит твой героизм в поэме. Ты великий, Тигеллин! Тебя будут восхвалять поэты и прославлять историки! В память о тебе будут воздвигаться статуи, потому что ты отдашь себя на бичевание, чтобы удовлетворить правосудие и утолить месть друга.

Тигеллин понимал, что это шутка, но Нерон обладал способностью воспроизводить картины с такой живостью, что у его друга мурашки забегали по телу. Он поспешил поддаться под тон императора и с комической смесью достоинства и пафоса проямлил стих Горация:

– Сладостно и почетно умереть за родину.

Нерон любил дурачить своих подчиненных, заставляя их думать, что сам одурачен ими. Он вздохнул, покачал головой и отвечал:

– Правда, Тигеллин, очень приятно и достойно, но уме-

реть – это еще немного: удар меча или львиной лапы... мгновение – и все кончено. Гораздо славнее подставить свою спину бичам! Мы часто видели, как это делается. Жик-жик-жик... Тяжелый бич свистит в воздухе, падает на спину, брызжет кровь, разрываются кожа, мясо, жилы! Вопли, крики, агония!..

У Тигеллина душа ушла в пятки. Он не раз сам присутствовал при бичевании рабов.

Нерон заметил ужас любимца и постарался скрыть свое удовольствие.

– Да, Тигеллин, – сказал он, – я завидую твоей славе, другой; один удар, бича стоит двух смертей, но и сотни ударов недостаточно, чтобы отомстить за побои, нанесенные потомку божественного Августа. Но я не только справедлив, я милосерден. Довольно будет сотни ударов.

Тигеллин, не в силах выносить далее шутки императора, попросил вина. Он подождал, пока один из рабов, несших бесчувственное тело Тита, налил и подал ему кубок.

Нерон так был доволен своей шуткой, что развеселился и хотел было приказать рабам отнести центуриона назад, к дому еврея Иакова.

Тигеллин горячо поддерживал его, понимая, что если воин будет пощажен, то и его спина останется невредимой.

Но Цезарь не хотел испортить свою шутку ради десяти центурионов, и боязливая горячность любимца только, заставила его повторить рабам приказание отнести тело в Ма-

мертинскую тюрьму и оставить там для казни на следующий день.

Молодые люди пошли во дворец, и Тигеллин, видя, что Нерон еще не оставил мысли о бичевании, решился на последнее Средство. Он уговорил императора приналечь на неразбавленное вино в надежде, что тот напьется и забудет о своем намерении.

Когда первые лучи восходящего солнца уже проникали в окна и лампы чуть-чуть отсвечивались на золотых кубках, Нерон в залитой вином тунике лежал без чувств на шелковых подушках.

Тогда Тигеллин оставил его.

## V

Когда Тит бросился за Нероном в атриум, Юдифь последовала за ним, тщетно умоляя вернуться. Она видела, как рабы императора бросились на молодого человека, и с замирающим сердцем, не зная, что делать, ожидала исхода этой драки, спрятавшись за каменным бассейном в центре залы. Когда все исчезли на склоне улицы, она побежала наверх к отцу и разбудила его.

Спальня Иакова находилась в задней половине дома, защищенной от жары утреннего солнца. Его рабы помещались тут же. Появление Нерона и последовавшая затем схватка сопровождалась сравнительно небольшим шумом, так что

никто из домашних не проснулся.

Иаков с испугом вскочил, но, узнав дочь, сонно спросил, что ей надо.

Когда Юдифь со слезами рассказала ему, в чем дело, умоляя спасти юношу, то Иаков дернул за колокольчик, и через несколько мгновений вошел молодой раб-сириец.

– Разбуди сейчас же привратника, – распорядился Иаков. – Какие-то сорванцы ворвались в дом; веди ему запирать засовы покрепче.

Юдифь задрожала от нетерпения.

– Ну, что ж, – сказала она, – встанешь ты наконец?

– Ты слишком молода, дитя мое, – отвечал Иаков. – Твой молодой друг все равно лишится головы, а я постараюсь сберечь свою ради твоей же пользы.

– Трус! – воскликнула Юдифь. – Этот молодой человек рисковал своей жизнью ради твоей дочери, а ты не хочешь пошевелить пальцем для его спасения.

– Если б, пошевелив пальцем, я мог помочь ему, – сказал Иаков, поднимая свою руку, – я бы с удовольствием пошевелил всеми десятью, но я не знаю, что еще я могу сделать.

– Ты пользуешься милостью императрицы-матери, – вскрикнула Юдифь, – ступай к ней, проси ее заступничества.

Правда, – отвечал еврей, – я когда-то продал бриллианты блистательнейшей госпоже Агриппине за очень умеренную цену... И, – прибавил он с умильной улыбкой, – может быть, много лет тому назад я заслужил ее милость иными средства-



ми. Но Агриппина не станет вмешиваться в государственные дела ради меня.

Юдифь металась по комнате.

– Неблагодарный, жестокий, – рыдала она, – ты лжешь. Разве не говорят в Риме, что твое слово имеет силу, в доме Цезаря?

Иаков развел руками в знак скромного отрицания.

– Если ты не жалеешь его, то пожалей меня. Не допусти отнять у меня защитника. Я тебе говорю, что этот пьяный боров, которого римляне называют своим императором; схватил меня и хотел унести...

Иаков облокотился на локоть и отвечал:

– Властитель мира, отпрыск божественного Августа, трижды славный Нерон удостоил взять тебя на руки... Что ж, дитя мое, значит, ты красивее прекрасноволосых гречанок.

На мгновение ее лицо исказилось, и тонкие пальцы судорожно сжали рукоятку маленького кинжала, который она носила за поясом.

– Клянусь Богом Авраама, – сказала она низким голосом, и голос зазвучал мрачной силой, как нестройные звуки органа. – Счастье твое, что ты научил меня звать тебя отцом. Но ты солгал, низкий трус! Я отрекаюсь от тебя! Я ненавижу тебя!

Она бросилась вон из комнаты, а Иаков снова улегся, приговаривая вполголоса:

– Отче Авраам! Что за таинственное существо женщина!

Императрица Агриппина, владычица мира, увлекается евреем, немолодым и некрасивым. А еврейская девушка, прекрасная, как Савская царица, приходит в бешенство из-за того, что император, властелин мира, вздумал сорвать поцелуй. Да самый мудрый Соломон не мог бы разобрать их за теи, а я... я так мудр, что не стану и пробовать разбирать.

И он спокойно заснул.

Юдифь бросилась в сад, вбежала в беседку, кинулась на скамью, где сидел центурион, и спрятала лицо в подушках.

– О, мой милый, – рыдала она, – как бы я хотела умереть за тебя. – Она подняла лицо, орошенное слезами, и стала громко молиться – Отец, жалеющий своих детей, пожалей меня! Ты обитаешь высоко, среди херувимов! Мы не можем достигнуть Твоего престола. Но Ты наше прибежище и сила. Я не прошу ничего для себя, только помоги ему!

Юдифь не только верила, но и чувствовала присутствие Бога. Щеки ее разгорелись, когда она произносила молитву. Она с отчаянием закрыла лицо руками и воскликнула:

– Господи, прости мне. Ты знаешь, как я люблю его. Я боролась, я молилась, но я женщина, и я люблю его.

Она встала и устремила пристальный взор в небо.

– Там написано, – сказала она. – Я и теперь читаю: на одном пути тьма, на другом – слава и долгие дни... Мы не можем, как он мечтал, идти рука об руку... Да я и не хочу, если б это даже было возможно. – Дедушка гордо выпрямилась. – Потому что кровь Давида не может смешаться с кро-

вью язычника.

– Да, – сказала она со вздохом, – я люблю его. О, пусть дорога тьмы будет моею, а его – путь славы.

Внезапно Юдифь вздрогнула.

«Что я сказала? – подумала она. – Я, которая мечтала об исполнении надежды Израиля, читала в небесах обещание Всевышнего, слышала в бессонные ночи, как гремели трубы Господа и римские стены рассыпались в прах, я пожертвую искуплением моего народа ради любви к римскому воину».

Измученная волнением, она прислонилась к стене беседки, и голова ее опустилась на грудь.

– Я слышала, – сказала она наконец, – что некоторые из иудеев учат, будто Бог есть любовь; быть может, Он понимает и прощает. Даже язычники преклоняются перед силой любви. Сенека, говорят, писал, что любовь сильнее ненависти... Сенека!.. – почти вскрикнула она и бросилась через сад в атриум, оттуда в свою комнату. Надев выходное платье, она снова поднялась в сад и, усевшись в беседке, стала ждать.

Луна исчезла, в саду стояла тьма, которая всегда предшествует рассвету. В городе было тихо. В Субурском предместье, где огни еще светились в окнах и двери были убраны зелеными ветками, еще раздавались звуки веселья, но они не достигали спокойной улицы Квиринала, где ждала Юдифь. Только с улицы порой слышались тяжелые шаги стражи, по и они вскоре замирали внизу, у подошвы холма.

Юдифь долго сидела и ждала; наконец тишина прервалась

пением какой-то птицы. Юдифь взглянула на небо: на востоке появилась серая полоса. Казалось, Рим пробуждается. Воздух наполнился щебетанием воробьев. Потом послышались чьи-то поспешные шаги на улице. Прошли двое людей, смеясь и разговаривая; закричал разносчик; в одном из домов привратник уже отворял дверь. Звуки сменялись звуками и наконец слились в общий гул и ропот пробудившегося города.

Слуги собрались в атриуме; привратник, старый, хромой еврей, которого Иаков купил из сострадания, осматривал дверь и указывал рабам на повреждения.

– Святые ангелы да защитят нас! – сказал он. – Какой беспокойный, дерзкий народ эти римляне! Два железных болта и дубовый засов разлетелись, точно узы Самсона, я когда-нибудь расскажу вам эту историю, и все из-за шеклей нашего доброго господина. Ах, жадность, жадность, она заставила Ахана прикоснуться к проклятой вещи, и, что хуже всего, из-за нее теперь никто не бросит камнем в наших Аханов. Но я забываю, – пробормотал старик, – что языческие свиньи ничего не знают об этом.

– Ты думаешь, это были воры? – спросил поваренок, забежавший сюда из кухни, где уже готовили стряпню.

– Воры? – повторил старик. – Кто же еще станет врываться ночью в дом богатого человека?

– Ну, мало ли кто? – заметила с усмешкой старая, дряхлая рабыня. – Может быть, кто-нибудь приходил поболтать с

Хлоей? – И она указала на одну из горничных Юдифи, стоявшую позади толпы.

– Старая бесстыдница! – воскликнула девушка, вспыхнув.

– А то еще, – продолжала старая ведьма, – когда я была девушкой, а императором был старый Август – я хочу сказать божественный Август, – я служила у жены сенатора Кая Мнеста, и к нам часто заглядывали «воры»; только вот что странно: они никогда не приходили, когда моя госпожа с дочерью были на своей вилле в Байи.

– Так ты думаешь... – воскликнули все в один голос, и толпа расхохоталась.

– Нет, – сказал наконец поваренок, – я не верю этому, она так добра.

– Ха! Ха! – засмеялась старуха. – А откуда ты знаешь, что она добра?

– Я думаю, что она слишком горда для этого, – сказал старый раб, подметавший сени. – Она горда, как Минерва, и холодна, как Диана. – Конечно, – повернулся он к старухе, – я не говорю, что ты лжешь, но уверен, что она ничего не знает об этих вещах. Гордость заставляет ее носить свое странное платье и...

– Гордость? – подхватила Хлоя с насмешливой гримасой.

– Ну да, гордость, а то что же? – отвечал старик.

– Тщеславие, глупый! – возразила девушка. – Она ведь не весталка, которые обязаны носить свою одежду. Почему же она так одевается? Просто потому, что это больше бросается

в глаза: молодые люди оглядываются на нее и говорят: какая красавица!

– Сомневаюсь, – сказал старик, а поваренок воскликнул, обращаясь к девушке;

– Ревнивица!

Вместо ответа он получил довольно увесистую затрепачу.

– Ты тоже, – сказала она полусмеясь, полусердито, – заглядываешься на ее черные глаза и пунцовые губы; только, милый мой, она слишком горда, чтобы связаться с поваренком, а главное – место уже занято! Вообще она самая покладистая девушка в Риме, но теперь на нее ничем не угодишь. Начнет причесываться, никак не может убрать волосы; надеет платье, потом другое, не знает, что ей лучше идет – жемчуг или рубины. Тоже, думает, красиво: жемчуг на темной коже! Мы знаем, что это значит, недаром же к ней повадился какой-то молодчик-центурион, гуляют по ночам в саду, болтают в беседке до утра. Я ничего худого не говорю...

– Молчать! – крикнул привратник, дрожа от гнева. – Он прислушивался к болтовне рабов, но почти ничего не слышал и еще меньше понимал и только благодаря громкому голосу девушки разобрал, в чем дело. – Собаки! Свиньи! – кричал он старческим, разбитым голосом. – И вы смеете осквернять мерзкими устами имя царевны из дома Давидова! Я вас! – И, подняв дрожащей рукой тяжелый засов, он замахнулся.

Не столько испугавшись, сколько развеселившись от этого внезапного взрыва, рабы бросились в стороны, но вдруг в неподдельном ужасе рассыпались по углам: между ними величественно прошла Юдифь. Она не удостоила взглядом никого, даже привратника, который поклонился почти до земли.

Сидя в беседке, она слышала злословие рабов. Но их болтовня не имела в ее глазах никакого значения. Их отзывы, дурные или хорошие, затрагивали ее не больше, чем лай собаки на улице. Правда, когда рабыня упомянула о встречах в саду, она слегка вспыхнула – не от стыда, потому что ей было безразлично, как объяснит девушка ее отношение к Титу, но эти слова пробудили воспоминания, и кровь на мгновение прилила к лицу. Она встала, оправила свое голубое платье, спустилась в атриум, прошла среди испуганных рабов и пошла вниз, по улице. Она шла быстрыми шагами, не замечая окружающей суеты. Когда она проходила по узким улицам Субуры, день был уже в полном разгаре. В лавках шла оживленная торговля. В низенькой таверне толпились посетители. Хозяин, подозрительного вида малый, черпал какую-то горячую жидкость из котла, стоявшего над огнем, и разливал ее посетителям, которые с очевидным удовольствием потягивали напиток. Над прилавком висела вывеска с грубо нарисованным петухом. Напротив таверны какая-то женщина расположилась с тележкой, наполненной овощами, и пронзительным голосом нахваливала свежесть и дешевизну свое-

го товара. Немного далее хлебопек молот муку на маленькой ручной мельнице, и его кирпичная печка разливала теплоту на улице. Далее валяльщик с босыми ногами выжимал грязное платье в чану с мыльной водой; один из его помощников чистил одежду, обшитую пурпуром, другой зажигал серу под тогой, повешенной на станке, устроенном в виде улья; женщина, сидевшая в сторонке, чинила разорванное платье. В следующей лавке цирюльник с подвязанной в виде фартука туникой стриг одного из посетителей. Другие сидели на прилавке и скамьях, смеясь и болтая о вчерашних скандалах. Несколько человек с важными лицами виднелись в книжной лавке, просматривая тома и перелистывая пергаменты, Далее попадались плотники, кожевники, мясники, сапожники, ювелиры. Но Юдифь проходила мимо, не замечая никого.

Прохожие останавливались, оглядываясь на красивую девушку, которая шла как бы в забытьи, что-то шепча. На минуту она остановилась у жалкой, полуразвалившейся таверны. Она помнила, что здесь ее спас Тит, здесь упал пьяный язычник, здесь ее окружила толпа, здесь протянулась для защиты сильная рука.

Наконец она вышла к храму Согласия; перед ней расстился оживленный Форум, налево возвышался вал Мамертинской тюрьмы, где они стояли с Титом, ожидая выхода императора. Закутав лицо покрывалом, она прислонилась к стене, присматриваясь к лицам сенаторов – недостойных потомков славных людей, поднимающихся по ступенькам сена-



та.

Полчаса прошло в томительном ожидании. Она продолжала стоять неподвижно, вглядываясь в лицо каждого сановника в окаймленной пурпуром тоге. Наконец она заметила высокую фигуру Сенеки, рядом с ним шел какой-то другой сенатор. Когда они переходили через площадку перед сенатом, здоровенный негр, спешивший с каким-то поручением, сбил с ног зазевавшегося мальчишку, который с криком покатился к ногам Сенеки. Правитель властителя мира поднял его, сказал ему несколько ласковых слов и дал какую-то монету. Его спутник смотрел на эту сцену с презрительным удивлением.

Но у Юдифи сердце дрогнуло от радости; она подбежала к великому философу и государственному человеку и бросившись перед ним на колени, прижала к губам его тогу.

## VI

Сенека был римлянин, и, подобно всем римлянам, относился с презрительным равнодушием к обычаям и нравам других рас. Правда, он удивлялся независимому характеру германцев и признавал литературные и философские способности греков. Но при всем свободомыслии, он, как и все его соотечественники, думал, что родиться римлянином значило получить право презирать все остальное человечество.

К евреям римляне питали особенное презрение. Нена-

висть между этими народами возникла еще в ту эпоху, когда пунические корабли опустошали латинские берега: соотечественники Сенеки считали евреев близкими родственниками финикийцев, сохранившими всю их низость, но не разделявшими славу Тира и Карфагена.

Сенека был предубежден против евреев. Стремясь расширить свое образование, он прочел между прочим и некоторые из их философских и исторических книг.

Многие выдающиеся римляне того времени, стремясь заменить какой-нибудь новой системой детскую мифологию древней веры, относились к еврейской религии с некоторым одобрением. Но Сенеке не нравилась положительная и оптимистическая основа еврейской философии. Она шла вразрез с его понятиями о разумном и истинном. А между тем с пронизательностью литературного и философского гения он замечал инстинктивное стремление римлян именно к такой философии. Его эклектический стоицизм, казалось ему, гораздо больше подходил к потребностям человечества, и он с досадой думал, что истерические, распущенные азиаты могут совратить римлян с пути здоровой философии.

Сенеке очень не нравился еврейский ритуал, тем более что его сведения о нем были неполны и неточны. Их главные обряды казались ему достойными только грязных азиатов. Да и сами евреи казались ему грязными телом, с дикой моралью, с нелепой философией.

Юдифь, разумеется, не знала ничего этого, когда прекло-

нила перед ним колени и поцеловала его платье.

– Сенека, как истый римлянин, ненавидел низкопоклонство и, вырвав у нее тогу, спросил суровым тоном:

– Кто ты и зачем становишься на колени передо мною?

– Я дочь Иакова, еврея, живущего среди язычников, – отвечала она, – я умоляю тебя о сострадании.

– Еврейка! – воскликнул Сенека и, впадая в обычную в Риме насмешливость, прибавил – Зачем может понадобиться мое сострадание такой очаровательной девушке?

Юдифь вскочила на ноги и гордо взглянула на него.

– Я слыхала, – воскликнула она, – что среди римских варваров есть один мудрый и добрый человек! Но меня обманули!

Сенека, улыбнувшись от сконфуженности, возразил:

– Немногие из представительниц твоего пола рассердились бы, если б кто-нибудь назвал их очаровательными. И, – прибавил он ласково, – может быть, еще меньше найдется таких, к которым бы это слово так подходило. Впрочем, я жалею, что пошутил. Скажи же, зачем ты требуешь моего сострадания или, лучше сказать, моей помощи, потому что без помощи нет истинного сострадания.

Манеры Сенеки подкупали. Он не напускал рассеянного вида, как многие философы. На каждого, кто с ним говорил, он производил такое впечатление, как будто предмет разговора возбуждал в нем величайший интерес.

При этом его глаза были так ясны, улыбка так приятна,

голос так музыкален, что даже Нерон не мог противостоять его влиянию.

Он выслушал с серьезным вниманием рассказ девушки.

Когда она кончила, он спросил, слегка улыбаясь:

– И этот центурион...

– Мой друг, – отвечала Юдифь, взглянув прямо в глаза Сенеке.

Он слегка покраснел: еврейская девушка пристыдила философа.

– Бедное дитя! – сказал он. – Но я не знаю, что делать.

В нем была странная смесь решительности и нерешительности.

Когда опасность была явна – например, когда Нерон находился в припадке свирепости, он действовал с удивительной быстротой и энергией. Но при отсутствии такого стимула Сенека часто обнаруживал слабость и нерешительность.

Юдифь бросила на него умоляющий взгляд.

– Тит сам говорил мне, – сказала она, – что ты правитель мира. Неужели правитель мира не может спасти жизнь простого воина?

Сенека поспешно ответил:

– Я не правитель мира, и тот, кто желает мне добра, не должен называть меня так даже наедине с самим собой, когда двери заперты и те, кто мог бы подслушать, погружены в сон. Я рад был бы помочь тебе. Возмутительно, что в этом городе, который по справедливости гордится своим поряд-

ком и законами, пьяные гуляки могут оскорблять и убивать людей. И все-таки я не знаю, что делать! Может быть, его уже ведут на казнь.

Юдифь вскрикнула и схватила руку сенатора:

– Поспеши же к Цезарю и требуй правосудия. Все говорят, что Рим управляется рукой Нерона и головой Сенеки. Неужели ты заклеишь себя участием в преступлении! Все говорят, что ты справедлив... Как может справедливость соединиться с трусостью!

Упрек подействовал.

– Ты права, девушка, – сказал он решительным, резким тоном, – ты права. Жизнь какого-то воина не важная вещь, и девическая любовь не должна влиять на государственного человека. Но справедливость и порядок слишком важны; нарушение их не должно остаться без протеста и, если возможно, исправления. Не знаю, удастся ли мне спасти его, но, во всяком случае, попытаюсь.

Он повернулся и пошел вниз по Форуму в сопровождении девушки. Немногие из его современников решились бы доставлять такую пищу сплетням. Он сам пострадал от них в юности; молва связала его имя с именем одной из представительниц императорской фамилии, и Тиверий отправил его в ссылку. Теперь, когда он был стар, римские остряки уверяли, что в число его обязанностей входит не только воспитание и руководство Нерона, но и утешение овдовевшей Агриппины. Он был очень чувствительный человек для римлянина, но

громадная власть, которой он пользовался, естественное достоинство, а главное – философия помогали ему равнодушно относиться к злобному жужжанию окружающих.

На Форуме им встретилась группа сенаторов. Сенека не мог не заметить их иронических взглядов, когда они раскланялись с ним. Он отвечал с обычной вежливостью и потом, как бы подчеркивая свою любезность, обратился к Юдифи и заговорил с ней. Его главной слабостью было стремление позировать: он часто поднимал голову выше, чем обыкновенно, тогда как более скромный человек благоразумно держал бы ее на обычном уровне.

Сенека и Юдифь перешли Форум, повернули и поднялись на Палатин. Перед ними возвышался великолепный дворец Цезаря.

Они вошли в обширное помещение, украшенное рядами статуй членов семьи Юлия и Клавдия. Широкая мраморная лестница вела в атриум, куда Сенека и его спутница прошли мимо группы стражников у подножия лестницы и толпы нубийских рабов, стоявших у фонтана в центре атриума и следивших за теми, кто входил во дворец. Стражники приветствовали Сенеку, а рабы поклонились ему почти до земли.

Несмотря на мучительное отчаяние, наполнявшее ее душу, Юдифь не могла не обратить внимание на окружавшее ее почти варварское великолепие. В доме ее отца было немало золота и драгоценных камней: но сюда, как ей показалось и как было на самом деле, стеклись все богатства мира. Мас-

сивная золотая статуя самого Нерона возвышалась на пьедестале из блестящей белой яшмы; ладони его рук были обращены наружу, и гордая фигура, казалось, говорила входящим в атриум так ясно, как только может говорить скульптура: «Все это мое!» Алебастровые колонны поддерживали потолок, разукрашенный золотом и слоновой костью, а коринфские капители, отделенные от колонн полосой черного дерева, были из золота. На каждой стороне табулинума было квадратное пространство, на котором не блистали золото или драгоценные камни, по рука великого мастера изобразила вакхические танцы. От колонн потолок поднимался в виде изящного свода, окрашенного в небесно-голубой цвет краской, купленной за огромные деньги в Александрии; на нем в виде звезд были разбросаны рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды.

Родина Юдифи была на Востоке, где небо ярче, кожа желтее и страсти сильнее, чем в Риме; и украшение дворца возбуждало в ней волнение такое же, как волнение грека при виде божественной чистоты контуров и линий.

Они вошли в коридор, примыкавший к атриуму, и, пройдя несколько пустых комнат, вышли на широкую террасу, возвышавшуюся над садом и искусственным озером. Здесь, на ложе, помещенном так, чтобы легкий ветерок доносил до него благоухание сада, лежала, Актея. Она защищала лицо от солнца опахалом из павлиньих перьев, и ее смеющийся голос раздавался на террасе, когда Сенека и Юдифь подошли

к ней.

Она разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей на резном кресле из черного дерева. Лицо Сенеки просветлело, когда он увидел собеседницу Актеи, которую назвал, здороваясь с ней, Паулиной.

Паулина была хорошо известна заправилам римского мира как начальница весталок, корпорации, пользовавшейся большим влиянием на государственные дела и сохранившей много старинных привилегий. Ей было под сорок лет, но ее величавая красота принадлежала к тому типу, который достигает расцвета только в зрелых годах. Девочкой она, вероятно, была неуклюжа; но теперь это была пышная, величественная женщина. Голова ее со светлыми золотистыми волосами, заплетенными в косы, широким низким лбом, серыми глазами, прямыми бровями, полными губами и резким круглым подбородком гордо сидела на полных плечах; она была высокого роста с крупными, но не тучными формами.

С раннего возраста, когда она была посвящена служению при храме, она освоилась с государственными делами; ее образование, высокий сан и естественные дарования придавали ей важный, почти надменный вид.

– О, Сенека! – воскликнула Актея, глаза которой блестели детским злорадством. – Слышал ли ты о ночных похождениях Цезаря? Говорят, будто какой-то центурион отколотил его за то, что он поцеловал его возлюбленную. Это плата за мой синяк.



– Где Цезарь? – спросил Сенека с беспокойством.

– Храпит на куче подушек среди пустых кубков и чаш, – отвечала девушка.

– Пора разбудить его! – сказал Сенека.

– Зачем? – возразила она. – Во сне он по крайней мере никому не делает вреда. Да и кто возьмется разбудить его? Не я и не ты; мы знаем, каков он бывает с похмелья.

– У меня есть дело до него, – сказала Паулина, – но, разумеется, будет благоразумнее не будить его.

Актея с любопытством смотрела на Юдифь.

– Кто это, Сенека? – спросила она и прибавила, обращаясь к Юдифи: – Поди сюда!

Юдифь откинула покрывало и подошла к ложу. Она воспитывалась в правилах еврейской морали, совершенно непохожей на римскую. Она знала, какую роль играет Актея в доме Нерона, и губы еврейки искривились презрением, когда она взглянула на этого греческого мотылька. Сенека и Паулина не поняли бы ее презрения, если бы даже она высказала его. В глазах государственного человека и весталки Актея была хорошенькой девушкой, очень полезной вследствие своего влияния на Нерона и их влияния на нее. Что касается самой Актеи, то она не заботилась о вопросах отвлеченной морали и знала только, что она – любимица императора, когда он был трезв, и баловень римского общества. Но Юдифь невольно отшатнулась, когда расшитое золотом легкое покрывало Актеи, подхваченное ветром, коснулось ее.

– Зачем Сенека привел тебя? – спросила Актея, слегка нахмурившись и всматриваясь в нее, как только женщина может всматриваться в другую женщину.

Юдифь коротко рассказала свою историю холодным и сухим тоном. Для нее было пыткой произносить имя Тита перед этой женщиной.

Выслушав рассказ, Актея воскликнула:

– Так ты девушка, которую поцеловал Цезарь!

– Он не целовал меня, – гордо возразила Юдифь.

– Ну, хотел поцеловать. Знаешь, я готова простить ему это, потому что ты почти так же хороша, как я. Да, – прибавила она, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо Юдифи, – я думаю, что ты совершенно так же хороша. Мне очень жаль тебя и твоего милого.

Надежда долго поддерживала мужество Юдифи, но теперь уступила место внезапному порыву отчаяния. Она судорожно заломила руки, слезы хлынули из ее глаз, и она обратилась с немой, но красноречивой мольбой к Сенеке.

Своенравие ребенка соединялось в Актее с чувствительностью ребенка. Она вскочила со своего ложа, обвила руками Юдифь и сказала:

– Бедняжка! Это ужасно! Это ужасно! У меня тоже был милый в Самосе. – Печальная нотка прозвучала в ее голосе. – Полно, не плачь, – продолжала она, – Цезарь не всегда в дурном расположении духа. Разбудим его, Сенека? Нужно спасти ее возлюбленного.

– Он вовсе не мой возлюбленный, – прошептала Юдифь.

– Нет? – сказала Актея. – Почему же ты плачешь и ломаешь руки? Если он так глуп, что не любит тебя, то я не стану хлопотать за него.

– О, любит, любит! – вскричала Юдифь.

– Он любит тебя, и он не твой любовник. И ты плачешь о нем и просишь спасти его. Я не понимаю этого, но все-таки я думаю, что мы должны разбудить Цезаря.

Она дала знак Сенеке следовать за нею и пошла по террасе, когда Паулина, – холодно слушавшая разговор девушек, подозвала Сенеку.

Он подошел к креслу, и она сказала ему так тихо, чтобы только он мог слышать ее:

– Неужели Сенека будет подвергать опасности надежды всех честных римлян ради хорошенького личика?

Он отвечал с упреком:

– Неужели Паулина думает... – остановился в затруднении.

Его серые глаза продолжали пристально смотреть на нее, и она возразила:

– Паулина думает, что Сенека слишком мягкосердечен для государственного человека. Вспомни, – продолжала она, – что Нерон ищет предлога лишить, тебя власти и даже жизни, и на тебе сосредоточены надежды всего, что есть лучшего в Риме.

– Я помню об этом, – сказал он, – но было бы в высшей

степени несправедливо допустить казнь этого человека.

– Где он? – спросила она: задумчиво.

– В Мамертинской тюрьме, – отвечал Сенека.

Она бросила на него многозначительный взгляд и громко сказала:

– Будить Цезаря скорее вредно, чем полезно. – И оставила террасу.

– Пусть Цезарь спит, – сказал Сенека Актее. Затем, обратившись к плачущей Юдифи, прибавил – Ступай домой, девушка, может быть, еще есть надежда...

## VII

Паулина шла своей мерной походкой по Палатину; впереди нее – ликтор расчищал дорогу, так как начальники, государственные люди, – знатные и плебеи – все должны были уступать путь весталкам. Девушки, поддерживавшие священный пламя, давно уже оставили свое затворничество; их орден накопил с течением времени огромные – богатства, и его члены мало-помалу заняли выдающееся положение в общественной жизни Рима... Их древние права, личная неприкосновенность и, может быть, добросовестность, с которой почти все они соблюдали свой обет, усиливали влияние, доставляемое богатством.

Под управлением Паулины, честолюбие которой было ненасытно и хитрость равнялась разве только упорству, кол-

легия весталок сделалась настоящим, центром политической интриги. Это учреждение было одним из древнейших и достойнейших в городе. В эпоху, когда римский сенат превратился в раболепное орудие императоров, а императоры, в свою очередь, в игрушку отпущенников, рабов и женщин, искра старого римского духа еще тлела на алтаре Весты.

Жажда власти и страсть повелевать были главными чертами характера Паулины. Ей было приятно сознавать, что знатнейшие люди Рима должны уступать ей дорогу; она радостно всходила на священные ступени вслед за верховным жрецом для ежемесячной жертвы, зная, что вокруг нее сосредоточились все лучшие традиции римской жизни и что под ее охраной находилось все, что уцелело от крушения римской веры.

Около тридцати лет прошло с тех пор, как Паулина, на шестом году жизни, была посвящена служению Весты. Через несколько месяцев ее служение должно было кончиться, ее обеты считались исполненными, и ей предстояло или вернуться в мир, или остаться служить в том храме, над которым она владычествовала.

Смутные мечты, долго носившиеся в ее воображении, принимали теперь почти определенную форму.

Ее дорога с каждым днем становилась шире; она лелеяла гордую мысль, что почтение народа к ее сану будет перенесено на нее самое, когда она навсегда расстанется с белой одеждой весталки.

Когда она спускалась с Палатина, ей вспомнились смуще-

ние Сенеки, его покорность, и улыбка скользнула по ее надменным чертам.

Паулина дошла до роши, окружавшей круглый храм Весты, где она жила с остальными жрецами. Она прошла в ворота и, пройдя через рошу, вошла в храм с заднего хода. Минуту спустя она вышла из храма в сопровождении ликтора через передние двери и стала спускаться по ступенькам лестницы, ведущей к Форуму.

Весталка направилась к Капитолию. Толпа празднующихся и торговцев почтительно расступилась перед нею: они признавали и уважали римскую доблесть суровой девы. Еще не все моральные и гражданские добродетели сделались предметом насмешки народа.

Но избалованное население Рима в большинстве состояло из неисправимых бездельников.

Слава, а еще более благосостояние столицы мира опьяняли их. Благосклонное государство кормило лентяев, и десятки тысяч здоровых людей без зазрения совести жили ежедневной раздачей бедным.

Тысячи бездельничали на службе у богатых патронов. Развращенные возбуждающими зрелищами в амфитеатре, в цирке, как дети, гонялись за самыми пустыми развлечениями. Собака, забежавшая на Форум, или неистовство пьяного раба могли прервать все дела и собрать огромную толпу, веселую и буйную, как школьники, вырвавшиеся из школы.

Когда Паулина выходила на Форум, шумное возбуждение царило в толпе, собравшейся перед Мамертинской тюрьмой. Хриплый смех, насмешливые восклицания, аплодисменты, шутки сыпались со всех сторон. Мясники в балаганах на нижнем конце площади вытягивали шеи и спрашивали прохожих о причине шума. Некоторые бросили свои лавки и бежали к тюрьме, вокруг которой собиралось все больше и больше народа.

– Пойдем, отец! – кричал какой-то мальчик, мчась во весь дух к старику, прислонившемуся к ростре, который вместе с очень немногими оставался спокойным среди общей суматохи. – Пойдем, сейчас поведут центуриона, который надавал пинков Цезарю; его распнут на Яникулуме. Пойдем скорей, там такая толпа, какой я никогда не видывал.

– Центурион надавал пинков Цезарю! – сказал старик, лениво шагая по Форуму. – Это, конечно, выдумка; с какой стати он станет колотить славнейшего, божественного Цезаря? – Усмешка тронула губы старика.

– Говорят, – отвечал мальчик, нетерпеливо дергая отца, – будто Цезарь поцеловал его любовницу и был бы убит, если б не рабы.

– Мне бы хотелось взглянуть на этого воина, я не думал, что еще остался такой римлянин. Распят прирожденного римского гражданина! – воскликнул старик. – Да это должно было бы камни побудить к восстанию!.. Во времена Мария один сенатор, заметь, сенатор из партии Суллы, сказал

грубость твоей прабабке. Твой прадед пожаловался старому Марию, и сенатор был убит на улице, а его земли, имущество, рабы отданы народу. Но теперь нет более римлян; Рим превратился в псарню.

– Да ну тебя, с твоим старым Марием! – закричал мальчик. – Пойдем скорей, или мы все прозеваем!

\* \* \*

Когда к Титу вернулось сознание, он увидел, что лежит на каменной скамье в темном и незнакомом месте с тяжелым, сырым воздухом. Он хотел встать, но обе руки оказались прикованными к чьим-то чужим рукам. Он стал собираться с мыслями. Мало-помалу он вспомнил происшествие в доме Иакова и, чувствуя сильную боль в голове, догадался, что кто-то нанес ему удар сзади. Он подумал, что воры – он ни на минуту не сомневался, что это были воры, – унесли его в свой притон. Но когда наступило утро и слабый свет проник в темницу, он убедился, что люди, к которым он был прикован, стражники. Он вскочил, заставив их тоже подняться.

– Что это значит? – крикнул он с негодованием. – Где я и почему на мне эти цепи?

Держать в цепях молодого офицера преторианской гвардии доставляло злобное удовольствие стражникам. Но дисциплина была в них так сильна, что повелительный голос центуриона тотчас укротил их.



– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря, господин, – отвечали они.

– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря? – повторил ошеломленный центурион. – За что?

Один из стражников засмеялся, но Тит схватил его за руку и сдавил ее так сильно, что тот вскрикнул от боли.

– Отвечай, собака! – крикнул центурион. – За какое преступление я сижу здесь?

– Твоя милость сбросила божественную особу Цезаря с лестницы, – отвечали оба стражника и расхохотались.

– Нерона? – вскричал Тит вне себя от изумления.

– Да, господин! – отвечали они, – Цезаря и славнейшего Тигеллина.

Тит упал на скамью, и стражники отнеслись с уважением к его горю. Может быть, они догадались, что ой сокрушается не о себе. Нерон видел Юдифь, хотел похитить ее. Центуриону вспомнилось ее пророчество! «Один, путь исчезает во мраке, другой ведет к подножию, трона».

Наконец римский стоицизм одержал верх.

– На Яникулуме? – спросил он спокойно.

– Да, господин, – отвечали они.

– Когда?

– В полдень.

После этого он сидел молча и неподвижно до тех пор, пока солнце поднялось высоко и лучи его заглянули в узкое окно в потолке тюрьмы. Вошел офицер с отрядом охраны, и ми-

нуту спустя Тит, по-прежнему прикованный к своим тюремщикам, вышел на Форум.

Легкое чувство стыда невольно зашевелилось в нем, когда он увидел шумную чернь, толпившуюся на Форуме и на ступеньках храма Согласия, оттесняя сенаторов, которые под предлогом надзора тоже тешили свое праздное любопытство.

Он был воином и всегда считал себя выше неорганизованной, беспорядочной массы. И вот он выведен на потеху толпы. Сама по себе смерть его не пугала. Тысячи римлян прошли на Яникулум до него, рано или поздно надо было умереть; а когда и как, не все ли равно. Но умереть на забаву для толпы было мучительно. Кто-то в толпе крикнул: «Ко львам! Ко львам!» Да, он служил бы таким же точно развлечением для народа в амфитеатре, как и на Яникулуме; Если бы Цезарь прислал ему кинжал, его рука не дрогнула, и он умер бы совершенно спокойно. Было тяжело умирать среди насмешек толпы, гудевшей вокруг него.

Их путь лежал через священную дорогу. Здесь толпа сгустилась до такой степени, что проход для осужденного и стражи становился все более и более затруднительным. Офицер, командовавший отрядом, был коротенький и толстый; из толпы слышались насмешки.

По команде начальника стража направила вперед щиты, и, выстроившись клином, оттеснила толпу. Солдаты колотили всех встречных рукоятками, своих коротких копий.

После минутной остановки шествие двинулось дальше, и Тит вышел на священную дорогу, когда толпа, находившаяся впереди, раздалась по обе стороны, стражники остановились и расступились, и Тит увидел перед собой величавую фигуру весталки Паулины. Толпа снова обступила их, но в ней воцарилось гробовое молчание.

Порыв удивления и надежды потряс все существо приговоренного к смерти, и он бросил на весталку взгляд, полный жаркой мольбы.

Но он не встретил ответа в холодных глазах весталки.

– Кто ваш начальник? – спросила она у стражников.

– Я начальник, – отвечал толстый воин, подходя к ней. – Я веду этого человека на казнь. Зачем ты задерживаешь нас?

Весталка выпрямилась и отвечала громким голосом, далеко разносившимся в толпе:

– Я, Паулина, девственная жрица Весты, милую и освобождаю этого человека, приговоренного к смерти.

– Помилование! Помилование! – раздалось в толпе, и ветренная чернь, за минуту перед тем жаждавшая увидеть, как обезглавят или, как надеялись некоторые, – распнут этого человека, теперь громко выражала свою радость по поводу вмешательства весталки.

Весталки с самых древних времен пользовались правом прощать преступника, случайно встреченного по пути на казнь; но этот обычай, как и многие другие, вышел из употребления, и его забыли. Паулина, видевшая в старых при-

вилегиях некоторый противовес возрастающей власти цезарей, возобновила его и пользовалась им при всяком удобном случае: в настоящую минуту ей доставляло особенное удовольствие помешать мести Нерона.

Толстый офицер стоял разинув рот от изумления и не зная, что делать.

Паулина резко повторила свое приказание:

– Сними с него цепи!

– Но что же я скажу Цезарю? – возразил он.

– Если ты будешь медлить, тебе придется говорить с Плутоном! – гневно отвечала она.

Смущенный солдат видел, что она права. Толпа уже заволновалась. При всем упадке национальной веры и обрядов весталки еще сохранили власть над народом. Циничное остроумие, не щадившее самого верховного жреца, не осмеливалось направлять свои стрелы против охранительниц священного огня; и деспотическая власть императоров не могла бы защитить того, кто решился оскорбить весталку.

Послышались гневные крики:

– Долой его! Он не слушается весталки! Убьем безбожника!

Маленький отряд сомкнул щиты наподобие ограды, и даже в эту решительную минуту Тит не мог не восхищаться их непоколебимым мужеством и дисциплиной. Впрочем, вся их храбрость не привела бы ни к чему, если б Паулина, подняв руки кверху, не остановила толпы.

– Снимите с него цепи! – повторила она, и толстый офицер, видя, что ничего больше не остается делать, повиновался и освободил руки и ноги пленника.

Воины сомкнулись вокруг своего начальника, повернулись и пошли обратно к Мамертинской тюрьме. Вдогонку им посыпались насмешки толпы, умолкнувшие не раньше, чем последний стражник скрылся за тюремным валом.

Тит стоял перед своей избавительницей.

– Следуй за мной! – сказала она, и они пошли вниз по Форуму, предшествоваемые ликтором.

Толпа уже нашла себе новое развлечение. Два мясника побились об заклад: один говорил, что центурион будет обезглавлен, другой – что его распнут.

– Я выиграл, – сказал первый. – Его не распяли.

– Я выиграл, – отвечал второй. – Ему не отрубили голову.

От слов они перешли к драке, и толпа с хохотом окружила бойцов.

Через пять минут Тит и его неожиданное помилование были забыты и на площади стоял гул от насмешек, ругательств и ударов.

Паулина остановилась под портиком храма Весты, и центурион принялся благодарить ее.

Она остановила его жестом и сказала:

– Ты обязан благодарностью за спасение своей жизни не мне, а Сенеке.

– Я пойду и поблагодарю его! – воскликнул Тит.

– Не трудись, – отвечала весталка, – слова для мудрого то же, что ветер, который пахнет на его лицо и мчится дальше. За услугу нужно платить делом, а не словами. – Она остановилась и, пристально взглянув в лицо центуриона, сказала торопливым тоном: – В наше время никто не может пренебрегать дружбой, даже Сенека при всем своем могуществе и богатстве, может быть, будет когда-нибудь иметь нужду в дружбе простого центуриона. Ты видишь, я доверяю тебе. – Она ласково улыбнулась. – Согласен ли ты быть другом Сенеки?

– Клянусь! – горячо воскликнул Тит.

Она хотела войти в храм, но он остановил ее.

– Почему же Сенека вздумал спасти мне жизнь?

– Опроси об этом у еврейки, которая была с ним со дворце Цезаря сегодня утром, – отвечала она.

– Юдифь во дворце Нерона? – воскликнул Тит с ужасом.

Весталка с любопытством взглянула на него, потом дотронулась до его руки и шепнула ему на ухо:

– Глупый, разве у тебя нет меча, чтобы отомстить за свою любовь?

Затем она скрылась в храме, оставив его в оцепенении.

Опомнившись, он пустился со всех ног к дому Иакова.

Но здесь, к его удивлению, старый привратник загородил ему дорогу; он оттолкнул его и вошел в атриум, громко призывая Юдифь.

Вместо дочери его встретил отец.

– Где Юдифь? – крикнул центурион.

– Моя дочь под кровом своего отца, – отвечал Иаков, – но я не знаю, какое тебе дело до этого. Я не желаю, чтобы ты вмешивался в мои или ее дела. Я смиренный римский гражданин и не желаю принимать в свой дом беспокойных людей, которые поднимают святотатственную руку на священную особу императора.

Он говорил громко, так, чтобы рабы, прислушивавшиеся, наострив уши, могли слышать его. Затем он вытолкал вон Тита, который машинально повиновался, и запер за ним дверь.

Тит как оглушенный побрел к себе в преторианский лагерь, но у ворот его остановил раб в императорской ливрее и с поклоном сказал ему:

– Цезарь желает говорить с тобой во дворце, господин.

Тит машинально повернулся и пошел за ним.

## VIII

Был уже почти полдень, когда Нерон проснулся. Он чувствовал себя очень скверно: разбитым, тупым и не в духе. Голова трещала, тело казалось слишком тяжелым, чтобы держаться на ногах. Весь организм громко протестовал против ночных кутежей. Он с трудом приподнялся, отыскал чашу, в которой еще оставалось немного вина, и хлебнул несколько глотков. Крепкий напиток оживил его, и искра сознания

блеснула в его оступелых глазах, когда он продекламировал апологию пьяницы из Горация;

Возлюбивший мудрость Сократа  
Может еще больше любить вино;  
Разве божественный Катон  
Не поддерживал вином свою доблесть.

Он побрел в свои апартаменты, умылся, переоделся и после безуспешной попытки проглотить хоть немного пищи отправился на террасу и сел на кресле рядом с Актеей. Он положил голову на ее плечо, и его покрытое пятнами лицо казалось уродливее на ее белой коже, чем когда-либо.

Актея была в кротком настроении духа. Она взяла руку императора и задумчиво играла его пальцами. Легкий ветерок убаюкивал его; он сонливо прислушивался к плеску фонтана и щебетанию птиц на деревьях.

Нерон каялся. Он всегда каялся по утрам. Его обычное распределение занятий было таково: вечером грешит, утром раскаивается, а после полудня готовится к новым грехам. Утреннее сокрушение искупало вечерние безобразия.

В своем утреннем расположении духа он любил, чтобы его бранили за дурное поведение. Человеческая натура всегда находила источник приятного возбуждения в сознании собственной испорченности. Ничто так не облегчает душу и не льстит гордости, как ласковые увещевания друга, который смотрит на ваши проступки сквозь сильно увеличивающие



моральные очки.

Упреки были так приятны, что соблазняют на новый грех. Император смутно чувствовал это, прильнув к груди Актеи.

Она гладила его волосы и лоб без отвращения: ведь на ее груди покоилась голова властителя мира. В ее прикосновении чувствовался нежный упрек, и Нерон несколько не удивился, когда она сказала:

– Зачем Цезарь испытывает терпение Фурий?

Вздых глубокого, хотя и мимолетного раскаяния был ответом на ее слова. Лукавая усмешка мелькнула на ее губах. Зрелище кающегося Нерона забавляло Актею.

С материнской нежностью, которая, как она убедилась, лучше всего действовала на ее сумасбродного повелителя, она продолжала:

– Безумный Цезарь! Ты не должен быть таким неблагоприятным.

– Ах, Актея! – отвечал император, сокрушенно качая головой. – Даже могущественный Цезарь может иметь свои недостатки.

– Могущественный Цезарь скоро присоединится к могущественному Августу, если будет пьянствовать каждую ночь, – сказала девушка довольно резко.

Облако досады отуманило его лицо. Приятно, когда вас называют негодным буяном, но вовсе не приятно, когда вам напоминают, что вы убиваете себя.

– Это все Тигеллин виноват, – сказал Нерон.

– Тигеллин! Тигеллин! – воскликнула девушка. – Как я ненавижу его!

– Я тоже, – заметил он. – Я тоже ненавижу его.

– Так зачем же ты дружишь с ним? Зачем ты слушаешься его? Зачем ты повинешься ему, как раб? – Лицо ее потемнело от прилива злобы и отвращения. – Зачем ты не убьешь это животное?

– Ты ревнуешь, маленькая Актея, – равнодушно сказал Нерон. – Что же сделал Тигеллин, чтобы его убить?

– Что он сделал? – воскликнула Актея. – Чего он не сделал?.. Он твой злой гений; он заставляет тебя пренебрегать мудрыми советами; он подстрекает тебя к безумию и злодейству; заставляет оскорблять и делать несчастными незащищенных людей. Мало того! Он подвергает тебя самого, императора, побоям и пинкам.

Это была ошибка. Ее горячность завлекла ее слишком далеко, и она тотчас убедилась в этом.

Лицо Нерона побагровело. Он вскочил с криком:

– А! Я и забыл про центуриона: он надавал мне пинков, Актея, и он будет казнен! Я желал бы, чтобы у него была тысяча жизней, я отнял бы их все. Если б я не был Цезарь, я сам бы убил его. – Он взглянул на солнце. – Смотри, теперь полдень: он на Яникулуме, его руки связаны, его лицо бледно, может быть, дрожь пробегает по его членам. Вот он становится на колени, наклоняет голову, вытягивает шею; солдат становится рядом с ним, замахивается мечом... удар – и

кровь! Кровь! Кровь!

– Нерон! – вскрикнула Актея не своим голосом. – Взгляни на эту пурпурную тень за Тибром. Там! Там! На склоне Ватиканского холма.

Он взглянул по направлению ее руки, опустил на колени подле ее ложа и погрузился в созерцание игры красок на облаках.

Формы, краски, музыка, стихи – все это затрагивало лучшие струны его натуры, заглушавшиеся обыкновенно безумием и преступлением. Глаза его приняли задумчивое выражение, лицо смягчилось, улыбка заиграла на губах.

– Ах! – сказал он. – Как прекрасно! Взгляни, Актея, на эту полосу тени, взбирающуюся на холм. Края ее почти багряного цвета, а к середине она темнеет. Она кажется черной, но это обман зрения – она великолепного пурпурового цвета. Смотри, смотри: верхушки деревьев вышли из тени; листья отливают золотом на солнце. Сейчас река у того изгиба засияет, как золотая рамка вокруг картины. Ах! Вот! Вот...

С полуоткрытым ртом, с разгоревшимся лицом, он молча любовался переливами красок. Потом спросил:

– Бывают ли такие картины в вашем далеком Самосе, среди его оливковых и гранатовых рощ?

Актея отвечала, слегка вздохнув:

– На Самосе мы наслаждались солнечным светом, а не тенями, а когда наступал вечер и загорались звезды, пастухи начинали играть на свирелях, и легкие пары неслись по скло-

нам холмов. Нам не нужно было управлять миром, мы жили настоящей минутой, не думая о завтрашнем дне.

– Один из наших поэтов проповедовал нам то же, – заметил Нерон.

– Но вы, римляне, не можете понять этого, – вздохнула она.

– Неужели ты жалеешь о холмах своего Самоса, Актея? – спросил он. – Подумай, ты здесь, в доме Цезаря, и сам Цезарь преклоняет перед тобой колени.

Он наклонился и прикоснулся губами к ее руке. Глаза Актеи засверкали.

– Нет, – сказала она, – я не жалею о Самосе, потому что Цезарь любит меня.

– Да, я люблю тебя, маленькая Актея! – воскликнул он, сжимая ее в объятиях так, что она вскрикнула. – Я люблю тебя и буду любить еще больше. Ты будешь императрицей, Актея, императрицей мира, потому что я женюсь на тебе, что бы ни говорили законники и сенаторы.

Она вскочила и воскликнула:

– Если так, убей Тигеллина!

Случай спас жизнь любимца, потому что Нерон, увлеченный страстью к Актее, без сомнения исполнил бы ее желание. Но прежде чем он успел ответить, на террасу вошел толстый офицер, которому поручена была казнь Тита. Он был бледен, как привидение, и ноги его, казалось, прилипли к полу.

– Ну, – сердито сказал Нерон, – что тебе нужно?

Губы воина зашевелились, но голос изменил ему.

– Говори, мошенник! – вскрикнул Нерон. – Что тебе нужно здесь?

Актея дотронулась до его руки с тщетным намерением обуздать его вспыльчивость.

– Центурион, – пробормотал офицер, – которого ты приказал казнить на Яникулуме...

Нерон поднялся на ноги.

– Ну что же? – сказал он. – Ты пришел рассказать мне о его смерти? Да что ты дрожишь? Ведь я не тебя велел казнить.

– Он... он... – бормотал, заикаясь, офицер.

– Да говори же, – крикнул Нерон, – или, клянусь богами, я заставлю тебя замолчать навеки!

Наконец солдат овладел собой и твердо произнес:

– Мы встретили на Форуме весталку Паулину, и она помиловала его.

Дикий крик вырвался из груди Цезаря; он схватил тяжелое кресло и с силой сумасшедшего пустил им в офицера. Оно ударило его в грудь, он опрокинулся навзничь и упал через низенькие перила в сад.

Нерон бросился на ложе рядом с Актеей и расхохотался. Потом он сказал:

– Боги, если только есть боги, большие шутники, Актея!

– Как так? – спросила она.

– Да как же? – отвечал император, продолжая смеяться. –

Человек оступился, встряхнул нас немного, его секут до полусмерти. «Хорошо! Прекрасно, – говорят боги, – и поделом ему». Через несколько времени другой человек спускает с лестницы римского императора. Я приказываю отрубить ему голову. «О, нет, – говорят боги, – пусть его убирается подобру-поздорову». Затем является солдат, который никому не сделал вреда, и я убиваю его. «Ха! Ха, – смеются боги, – вот так штука!» Кстати, – продолжал Нерон, – надо посмотреть, жив ли он.

Он встал и заглянул в сад. Солдат лежал неподвижно.

– Я думаю; что он умер, – заметил император совершенно равнодушно. – Однако он вовсе не украшает цветника, не мешало бы его убрать оттуда.

Актея хлопнула в ладоши и шепнула несколько слов вошедшей женщине. Спустя несколько минут толпа рабов появилась в саду. Они подняли тело и унесли его во дворец.

– Так ты думаешь, – сказала Актея, – что богов нет?

– Я вовсе не думаю о них, – отвечал он, – какое дело мне или тебе, есть ли на Олимпе или в Гадесе боги или нет. Во всяком случае, они не являются теперь людям, как во времена Энея, я хотел бы быть на месте старого Анхиза, хотя, – прибавил он задумчиво, – не знаю, променял ли бы я тебя на Венеру.

Она покачала головой и воскликнула:

– Ты не заставишь меня молчать лестью! Я верю в богов, и мне есть дело. Чья же рука мечет перуны с неба; если не

Зевсова? Кто обновляет славу утра, если не Аполлон? Кто поднимает волны на океане и одевает глубину тьмою, если не Посейдон? Кто влагает любовь в сердца мужчин и женщин, если не Афродита?

– Кто заставляет меня напиваться каждую ночь, если не Вакх? – подхватил Нерон, передразнивая ее голос. – Рассуждай об этих вещах с Сенекой, Актея: он философ, а я – я артист.

Они помолчали; Нерон задумчиво играл с вышитым покрывалом Актеи. Потом он снова рассмеялся:

– А! Так человек, поколотивший Цезаря, еще жив. Забавно, не правда ли? Эта весталка любит соваться не в свое дело. Счастье ее, что она весталка.

Немного погодя он прибавил:

– Я хочу поговорить с этим центурионом. Мне нужно спросить его кое о чем. Я пошлю за ним, Актея.

Он кликнул раба и сказал ему:

– Ступай в преторианский лагерь и разыщи центуриона, который должен был быть казнен сегодня, но помилован. Проси прийти его сюда, во дворец.

Раб ушел, а Нерон предложил Актее заняться музыкой. Арфа, мантия, венок и золотое кресло принесли на сцену. Во время пения вошел Сенека с озабоченным и беспокойным лицом. Император встретил его с любезнейшей улыбкой и самым дружеским видом. Старый придворный заставил себя улыбнуться и, выразив свое восхищение пением, подошел к

Актее.

– Он убил вестника, – сказала она вполголоса в ответ на его вопросительный взгляд, – и послал за солдатом.

– Вестник очнулся, – отвечал Сенека, – я слышал об этом от рабов.

– Что же? – сказала Актея.

Сенека пожал плечами, и выражение беспокойства снова явилось на его лице.

– Паулина слишком смела, слишком честолюбива, – проворкотал он скорее про себя, чем Актее. – Если он убьет теперь этого солдата, которого она помиловала, результаты могут быть очень серьезные.

Актея бросила на него быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц и сказала с чисто женским лукавством:

– Паулина так же смела, как прекрасна.

Озабоченное лицо Сенеки на мгновение осветилось нежностью, а Актея провела рукой по лицу, чтобы скрыть лукавую усмешку.

Неосторожно пользуясь своим преимуществом, она продолжала:

– Через некоторое время Паулина перестанет быть весталкой.

Ловушка была слишком искусно расставлена, и Сенека холодно ответил:

– Правда, но какое нам дело до этого? Разве у нас нет других предметов для разговора?



Разговор был прерван появлением императорского посла с центурионом.

Нерон рассеянно взглянул на них; он был в разгаре импровизации, напевая что-то вполголоса и аккомпанируя себе на арфе.

Тит остановился перед повелителем легионов, властелином всемирной Империи, которого несколько часов тому назад так бесцеремонно спустил с лестницы. Молодой человек был бледен и, казалось, постарел за это время. Волнение, которое он пережил за один день, подрезало его юность, и теперь он более чем когда-либо был римлянином и римским воином.

Тит пробудился от своих грез о счастье в оковах и перед лицом смерти. Спасенный случаем, он нашел двери своей возлюбленной запертыми для него. Подобно большинству римлян того времени, он придерживался стоицизма. Огорченный и утративший все надежды, он с нетерпением ожидал рокового удара, который, как он думал, должен был поразить его в доме Цезаря.

Нерон отложил в сторону арфу и пристально посмотрел на центуриона.

– Так ты и есть тот, кто поколотил Цезаря? – спросил он наконец.

Центурион молча поклонился.

– Гм! – сказал Нерон. – Но ведь ты не знал, что это был Цезарь?

Новый поклон был ответом на эти слова.

– Скажи же мне, – продолжал император, – поколотил ли бы ты меня, если б знал, что я император?

Центурион молчал.

– Подумай, воин, – сказал Нерон, – я твой император, поколотил ли бы своего императора?

После некоторого колебания Тит ответил:

– Не знаю, но думаю, что да.

Нерон расхохотался.

– Это мне нравится, – сказал он. – Люди, которые не боятся говорить правду, всегда полезны. Ну, на этот раз твоя голова уцелеет. Ты будешь служить у меня под начальством Бурра, и твоя главная обязанность будет состоять при Актее. Теперь, – продолжал он, вставая и потягиваясь, – пойдёмте обедать. Говорят, Сенека, что в Киликии есть гробница какого-то древнего монарха, на которой написано: «Ешь, пей и веселись, все остальное пустяки!» Эта философия лучше твоих проповедей.

С этими словами он оставил террасу.

Тит, онемевший от изумления, встрепенулся и, отойдя к Сенеке, сказал ему вполголоса:

– Сегодня весталка спасла мне жизнь и, когда я благодарил ее, велела мне быть другом Сенеки. Я поклялся в этом.

Вторично в этот день легкая краска показалась на лице Сенеки.

– Я принимаю подарок весталки, и, – прибавил он, ласко-

во улыбаясь Титу, — этот дар достоин дарящей.

После этого он и Актея последовали за Нероном в триклиниум [*столовая в доме римлянина*].

## IX

Тит остался во дворце Цезаря.

Новая служба была ему не по вкусу. Он чувствовал себя свободнее в лагере, чем во дворце, и счастливее на поле битвы, чем в штате императора. Бурр был нездоров, и военный надзор за дворцом почти целиком падал на Тита. Он должен был заботиться о личной безопасности Цезаря, а это было нелегкой задачей, особенно когда Цезарь бывал пьян. Никто не мог предвидеть его выходок в пьяном виде. Он решился бы оскорбить самого могущественного, задеть самого отчаянного человека в Риме, и Тит думал про себя, что урок Брута не прошел бесследно для римлян. Калигула убит рабом, Клавдий — женой, и центурион удивлялся, как это Нерон до сих пор выходил целым из своих ночных походов.

Впрочем, эти соображения не особенно смущали молодого человека: Нерон был его императором, и он считал своим долгом охранять его.

Обязанности его относительно Актеи нравились ему еще меньше. В то время свободные граждане Рима еще не привыкли служить на побегушках у рабынь. Впрочем, в этой службе не было ничего унижительного: римляне не считали

постыдным исполнять обязанности лакея в доме своих цезарей, римская цивилизация еще не выработала тонкостей социального честолюбия.

По временам Актея смущала молодого солдата, требуя, чтобы он находился при ней с утра до вечера и сопровождал ее на улице. Это ему не нравилось, он чувствовал, что новые обязанности не могли содействовать возобновлению знакомства с Юдифью и что, кроме того, Нерон мог в один прекрасный день приставить к Актее какого-нибудь телохранителя постарше, а его отправить на Яникулум.

Впрочем, все обитатели дворца испытывали приятное изумление при мысли, что их головы еще держатся на плечах, и, следовательно, Тит находился не в худшем положении, чем его товарищи.

Однажды, когда он сопровождал носилки Актеи на Эсквилинский холм, им повстречалась Юдифь. Как раз в это время гречанка расспрашивала солдата о его сердечных делах и горестях. Тит отвечал очень сухо, наконец, раздосадованная, она устремила на него свои блестящие глаза и заговорила таким нежным голосом, что сердце его невольно дрогнуло. В эту минуту прошла Юдифь, не показав вида, что узнает его, и центурион мысленно проклял всех гречанок от Атланты до Актеи.

Другой раз, когда они шли по Форуму, какой-то молодой человек кивнул своему товарищу на Актею:

– Вот комнатная собачка Цезаря.

Тот отвечал, смеясь:

– На месте Цезаря я не посылал бы с собачкой такого вожакого.

Все это раздражало и оскорбляло его.

Некоторым вознаграждением для него было расположение Нерона. Этот своенравный государь решил почему-то, что Тит заслуживает его полного доверия. Даже в пьяном виде он не грозил ему бичами или крестом, напротив, уходя после пирушки в свои комнаты, он всякий раз при встрече с Титом говорил заплетающимся языком:

– Человек, поколотивший Цезаря, молодец.

В трезвом виде Нерон иногда выражал свою милость Титу, позволяя ему слушать свое пение, и молодой человек, скрывая отвращение и скуку, принимал благодарный вид. Иногда Нерон брал его с собой в Ватиканский амфитеатр. Император страстно любил лошадиные бега, но, к несчастью для него, наездники в глазах римлян были истинным отребьем, и мир пришел бы в ужас, увидав императора в цирке, правящего колесницей. Однако он не в силах был преодолеть своей страсти, и потому Сенека и Бурр устроили ему в Ватикане цирк, где он мог удовлетворять свою любовь к сильным ощущениям, скрытый от посторонних взоров.

Гречанка Актея, в глазах которой всякое физическое состязание имело благородный характер, часто появлялась в цирке и смотрела с балкона, как Нерон с Титом мчались по арене. Сенека и Бурр также нередко присутствовали при

этом и аплодировали, когда император делал круг быстрее, чем обыкновенно.

Однажды, когда Актея и оба сановника присутствовали в цирке, Нерон, поворачивая лошадей вокруг столба, взглянул на Актею. В эту минуту одна из лошадей рванулась в сторону, колесо задело за камень, и император, потеряв равновесие, полетел с колесницы. Тит, находившийся впереди него, устоял. Следом за ними мчалась колесница, запряженная тройкой бешеных лошадей и управляемая рабом; через несколько мгновений она должна была переехать императора. Раб тщетно натягивал вожжи и совсем потерял голову. Он схватился за нож, чтобы обрубить постромки, но если бы даже и успел это сделать, лошади все равно промчались бы через императора. Тит с удивительной быстротой сообразил, что делать.

Не успел еще Нерон коснуться земли, как центурион соскочил с колесницы и, к счастью, удержался на ногах. Он схватил Цезаря за ноги и убрал его с дороги. Еще мгновение – и бешеные кони промчались мимо них с обезумевшим от страха рабом. Нерон более испуганный, чем пострадавший при падении, поднялся на балкон, опираясь на плечо Тита. Актея, почти лишившаяся чувств, бросилась ему на шею и осыпала его поцелуями.

– Человек, поколотивший Цезаря, молодец, – сказал Нерон, взглянув на Тита.

Актея схватила центуриона за руку и с жаром благодарила

его; Сенека и Бурр тоже рассыпались в похвалах его мужеству и проворству. Но по выражению их лиц Тит заподозрил, что они вовсе не так уж обрадованы.

«Неужели Сенека был бы рад его смерти?» – подумал центурион.

После этого происшествия положение Тита во дворце улучшилось. Нерон открыто обращался с ним как с другом. При всем своем сумасбродстве он был далеко не лишен проницательности. Он обладал драгоценной для монарха способностью угадывать людей. Чувствуя, что никто в целом мире, за исключением Актеи, не любит, его, Цезарь еще больше осыпал ласками молодого воина. Отправляясь в цирк, он всегда брал с собой Тита и нередко являлся в сенат вместе с ним.

Придворные, разумеется, заметили чувство императора к новому другу, и скоро Титу не было отбоя от льстецов. Многие ненавидели его, но только один открыто выражал свою ненависть. Это был Тигеллин, товарищ Нерона по кутежам. Любимец выходил из себя при виде почтения, которое Нерон оказывал честному центуриону; он задыхался от бешенства, замечая, что Цезарь пользуется им только как орудием для удовольствий, тогда как к Титу относится с очевидным уважением, скрывая от него насколько возможно свои кутежи. Тигеллин мечтал о кровавой мести, но Тит спокойно шел своей дорогой, никого не ненавидя и никого не боясь.

В числе его поклонников оказался также Иаков, который

встретился ему однажды во дворце, куда Тит явился с драгоценностями для Актеи.

Иаков напомнил молодому человеку, что в прежнее время он удостаивал своими посещениями дом бедного еврея, и униженно просил его оказать ему снова эти милость.

Тит подавил свое отвращение ради Юдифи и в тот же вечер, явился с бьющимся сердцем в дом Иакова.

Но Юдифь заперлась наверху, в своей комнате, и ни просьбы, ни угрозы отца не могли заставить ее выйти, так что Тит вернулся во дворец удивленный и опечаленный.

С этого времени служба у Актеи не так сильно раздражала его. Он перестал обращать внимание на зевак, которые перешептывались и отпускали шуточки насчет комнатной собачки Нерона и ее вожатого, когда он шел подле носилок Актеи. Невозможно было устоять перед обаянием этой девушки.

Тит припомнил старинную сказку, когда-то слышанную им в Греции, о чудовище, опустошавшем прекрасную страну, которое можно было умиловить, только отдавая ему на съедение красивых девушек и мальчиков. Он помнил ее очень смутно, и так как был солдат, а не школьный учитель, то и не читал прекрасных версий этой легенды у Овидия и Вергилия. Но когда он смотрел на Актею, ему нередко приходила в голову мысль о прекрасной девушке, отданной в жертву чудовищу ради блага государства. Иногда ему случалось быть свидетелем грубого обращения Нерона с этим нежным созданием и слышать его ужасные угрозы. Любимой



забавой Цезаря в пьяном виде или в минуты дурного расположения духа было грозить Актее бичами или крестом и рисовать картину жестоких страданий при этих наказаниях. Он дотрагивался иногда до ее белоснежной кожи, рассказывая, как гвозди или бич будут терзать ее. Актея никогда не уступала ему, хотя мурашки бегали по ее телу. Тит часто удивлялся ее мужеству: правда, лицо ее бледнело, но она никогда не опускала глаз перед Цезарем; ни разу не случилось, чтобы голос ее дрогнул, когда она упрекала его в жестокости или язвительно смеялась над его похождениями.

Центурион начинал чувствовать, что охранять подобную женщину не было недостойно римского солдата. Он поклялся в дружбе Сенеке и скоро заметил, что Актея была краеугольным камнем его власти и влияния. Притом она была прекрасна и очаровательна; он мог сознаться в этом, не изменяя Юдифи. Он был оскорблен еврейской девушкой, глубоко оскорблен, как ему казалось; но все же образ Юдифи, который сами боги, казалось, озарили добротой и любовью, сохранялся в его сердце, тогда как смеющиеся черты гречанки ласкали только его зрение. Однако он должен был сознаться, что по временам, когда Актея бросала на него нежный взгляд из-под своих длинных ресниц, сердце его начинало биться сильнее, чем обыкновенно.

Тит не был тщеславен и обладал большим здравым смыслом. Он понимал, что Актея знает силу своей красоты и влияния на людей. Ей нравилось и казалось забавным вызывать

краску на лице этого здоровенного центуриона. Но она была собственностью императора, который, в свою очередь, был ее рабом. Ее слово было законом от туманных берегов Британии до знойных равнин Нубии, от Геркулесовых столбов до Вавилонских рек. Он мог краснеть и заикаться, поддаваясь чарам красавицы, но очень хорошо понимал, что если хоть сколько-нибудь позволит себе выйти за пределы скромности и почтения, то гордая гречанка отправит его на казнь прежде, чем мир успеет состариться за один день. Таким образом, здравый смысл, как и любовь к Юдифи, удерживал его от всякого безумного увлечения.

Спустя несколько месяцев после приключения в амфитатре ему случилось однажды проходить по Форуму, сопровождая Актею. У ростры они увидели толпу, собравшуюся вокруг какого-то оратора. Толпа свистела, хохотала, шумела так, что только оратор был почти не слышен.

Актея обладала не то что женским, а чисто греческим любопытством. Она не могла пройти мимо толпы, не разузнав, в чем дело. Она приказала носильщикам остановиться и с нежной улыбкой сказала Титу:

– Сходи узнай, что говорит этот человек.

Тит протолкался сквозь толпу к трибуне.

С первого взгляда оратор не представлял ничего особенного. На вид ему было лет пятьдесят – шестьдесят; он был ниже среднего роста и сильно изнурен болезнями и лишениями. Лицо его было приятно, но вовсе не красиво. Волосы

над высоким, хотя несколько узким лбом откинута назад, длинная седая борода свешивалась на грудь. Горбатый нос изобличал его расу: Тит сразу узнал еврея. Очертания губ его были приятны, но, когда он на мгновение прерывал свою речь, они поражали своим твердым выражением. Одежда его была сильно покошена, грубая мантия, наброшенная на плечи, казалось, пережила много невзгод.

В фигуре его было что-то, привлекавшее внимание. Не то чтобы он был красив или величествен, но какое-то неуловимое магнетическое влияние, невольно оказываемое на всех в большей или меньшей степени, говорило тем, кто его видел, что жизнь этого человека посвящена великому делу, что у него есть что сказать и что он знает, как говорить.

Когда Тит протолкался в передние ряды, толпа уже утихла. Сила красноречия покорила шумных римлян. Шутки и смех прекратились.

Тит легко поддавался обаянию оратора. Его поразило не столько содержание речи, сколько дикция и голос говорившего. Такого голоса ему никогда еще не приходилось слышать. Он мог бы пробить дюжину панцирей и проникнуть в сердце. То он гремел и раздавался далеко по Форуму, и Тит вспоминал боевой крик легионов в разгар битвы, когда опасность и долг воспламеняли сердце каждого римлянина, то в едкой иронии он, казалось, сверкал подобно лезвию меча, то звучал кроткой насмешкой. Иногда он становился мягким и нежным, и Тит вспоминал речи Юдифи в беседке, обвитой

виноградником.

К счастью для молодого человека, речь скоро окончилась, так как он совершенно забыл о своем поручении. Когда он вернулся к носилкам, Актея нетерпеливо постукивала пальцами по колену.

– Что это значит? – воскликнула она. – Или ты думаешь, что я намерена дожидаться тебя целый день здесь, на Форуме? Ну, что же говорил этот человек?

– Это странная история, – отвечал Тит, – он толковал о новом Боге.

– О новом Боге? – повторила Актея. – Ну, рассказывай, я люблю слушать о богах.

– Он говорил, что богов нет, а есть только один Бог и именно его Бог. Конечно, – прибавил он задумчиво, – вполне естественно считать своего Бога лучшим из богов, ко смешно отрицать существование всех остальных.

– Не в том дело, что ты думаешь, – перебила Актея, – рассказывай, что он еще говорил.

– Он говорил что есть великий, неизвестный нам Бог, который, видя разврат и несчастье мира, пожалел его и послал своего Сына на землю, чтобы сделаться человеком, учить людей истине и погибнуть для искупления грехов мира. Этот Сын Божий, по его словам, был еврей, жил в Иудее лет тридцать или сорок тому назад и был распят священниками или прокуратором, но через три дня воскрес из мертвых.

Актея засмеялась.

– Какое грубое суеверие, – сказала она. – Зачем же Он послал своего Сына, который добр и любил его, чтобы быть убитым за людей, которые злы и не любили его? Зевс не сделал бы этого.

– Не стоит обращать внимания на эти рассказы, – сказал центурион. – Я всегда замечал, что мертвые воскресают и всевозможные чудеса случаются в таких захолустных уголках мира, как Иудея. Здесь в Риме никогда не бывает ничего подобного.

– О! Бог, разумеется, может воскресить своего Сына, если захочет, – возразила Актея, – но странно, что Сын мог быть убит для такой необычайной цели... Наконец, почему Он ждал так долго? Почему Он не сделал то же раньше?

– Не знаю, – отвечал центурион, – если ты хочешь услышать побольше о Христе, так он назвал его, то я приведу этого еврея во дворец.

– Пожалуй, – сказала Актея, – может быть, это позабавит нас.

– Его стоит послушать, – заметил Тит, – он великий оратор, выше Сенеки, по-моему.

## X

Актея лежала на залитой солнцем террасе; у ее изголовья стоял Тит, в ногах сидела на кресле из черного дерева Паулина, напротив нее – Сенека. Проповедник, стоявший перед

ними, простер руки и воскликнул:

– Велика благодать Божия; Он отдал своего единородного Сына, чтобы те, кто уверует в него, спаслись от гибели и сподобились вечной жизни.

Актея с удивлением смотрела на дивного оратора, голос которого отзывался в ее сердце. Сенека слушал с серьезным вниманием, но весталка хмурила брови с явным нетерпением. Тит прислушивался к плеску фонтана и думал, удастся ли ему когда-нибудь снова увидеть Юдифь.

Проповедник рассказывал о жизни и смерти Учителя с безыскусственным, но потрясающим красноречием. Потом он снова повысил голос и воскликнул:

– Тот, кто уверует в Него, спасется, но неверующий будет осужден.

– Как? – сказал Сенека с мягкой иронией. – Неужели Катон и Цицерон, Брут и Юлий, Вергилий и Гораций будут несчастны, а ты, не сделавший ничего равного их делам, будешь счастлив только потому, что ты еврей?

– Я прирожденный римский гражданин, – отвечал проповедник, – притом написано: «утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам».

– Охота тебе разговаривать с безумным евреем, Сенека! – шепнула ему Паулина.

– Истинный философ учится везде, даже у безумца, – отвечал Сенека, – но этот человек не безумен.

Проповедник, как бы угадывая ее мысль, воскликнул:

– Я не безумен, благородная госпожа, я говорю слова истины.

– Ты рассказываешь странные вещи, – сказал Сенека. – Если человек придет ко мне и скажет, что был мертв и ожил, могу ли я поверить ему?

– Мы говорим о том, что видели своими глазами, – возразил проповедник.

– Однако ты сам говорил, что никогда не видел вашего Учителя?

– Мои глаза видели Его славу, хотя мне не дано было увидеть Его лицо на земле. Однажды, когда я ехал в Дамаск – в то время истина еще не коснулась моего сердца, – великий свет воссиял мне, и я услышал голос, говорящий: «Зачем ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» И он сказал: «Я – Иисус, которого ты гонишь».

– Я бы желал знать, – ехидно сказал Сенека, – почему боги всегда являются только в первые дни существования религии. Они бились в рядах троянцев и аргивян при осаде Трои, и Рим был еще древней, когда близнецы мчались рядом с диктатором Авлом. Я думаю, – прибавил он, обращаясь к Паулине, – жрицы Весты давно уже не замечают, что они поят коней в Священном колодце.

– Жрицам Весты некогда думать о римских или иудейских сказках, – отвечала весталка.

– То, что я говорю вам, не сказки! – воскликнул проповедник. – Это Божественная истина, открытая людям для спа-

сения их душ.

– Не сомневаюсь в могуществе Бога, – отвесил Сенека, – но не думаю, что оно проявляется в чудесах, которые могут поразить только ребенка.

Проповедник задумался.

– Может быть, – сказал он наконец, – наступит время, когда истина будет говорить сама за себя и люди перестанут искать, подобно детям, внешних знаков, а станут стремиться только к добру.

– Справедливо, – сказал Сенека, – я бы желал, чтобы люди стремились только к тому, что заслуживает стремления у всех народов и во все времена, чтобы они перестали выдумывать чудесные сказки и довольствовались знанием, что добродетель есть лучшее благо на земле.

– Ты недалек от царствия небесного, – воскликнул проповедник и со всем пылом своего красноречия начал излагать божественные истины своего Учителя. Чистейшее учение, какое когда-либо слышал мир, – проповедь любви, целомудрия, благочестия, мира, прощения раздавались на террасе во дворце Цезарей. Наконец вдохновенный проповедник бросился на колени и прочел молитву Господню.

Взволнованный Сенека сидел, опустив голову. Серые глаза Паулины были устремлены на него со смешанным выражением сожаления и презрительного удивления.

«Он родился, – думала она, – поэтом или жрецом или кем угодно, только не правителем. Но он правитель, и будет еще



более великим правителем».

Проповедник встал. Лицо его светилось.

Сенека медленно произнес:

– Моя первая молитва всегда была молитва о спокойной совести; но твоя, конечно, лучше, так как ты прочишь, чтобы воля Божия исполнялась на земле. Все угодное Ему хорошо, и исполнять Его волю значит иметь чистую совесть. Великий дух всегда стремится к нему.

– Никто не может познать Бога иначе, как через Его Сына Иисуса Христа, – сказал проповедник.

– Бог наш Отец, – отвечал Сенека резким тоном. – Он всегда близок к нам, лучшие люди мира всегда любили Его и служили Ему, а ты говоришь, что никто не может познать Его, если не примет еврейских суеверий!

С этими словами он удалился с террасы.

Проповедник поднял глаза к небу и воскликнул:

– Да помилует тебя Бог, потому что время твое близко. Никто не ведает дня, когда придет Сын Человеческий, и горе тому, кого он найдет не готовым.

Паулина последовала за Сенекой и, проходя мимо проповедника, сказала с холодной усмешкой:

– Друг, в тебе есть искра мудрости; предоставь же пророчества авгурам и глупцам, которые им верят. Настоящее наше, но будущее принадлежит Богу.

Проповедник хотел тоже оставить дворец, но Актея остановила его.

– Сядь здесь, старик, – сказала она, – и расскажи мне еще что-нибудь о вашем Боге и об удивительный чудесах Его Сына.

Актея не поняла, о чем спорили Сенека и проповедник, но с удивлением слушала рассказ о воскресении.

Римляне снисходительно относились к положению Актеи в доме Цезаря. Многие признавали ее власть. Мало кто находил позорными ее отношения с Цезарем. Но для христианского проповедника она была орудием животной страсти – грешной, проклятой женщиной. Однако он сел подле нее и говор, ил с ней серьезно и нежно, так как, подобно своему Учителю, он был руководителем заблудших, целителем больных.

Вряд ли когда-либо существовал более пылкий проповедник и более искусный учитель. С Сенекой он спорил как с мыслителем, изучая его, стараясь открыть его сильные и слабые стороны, и в конце концов восторжествовал, по крайней мере до некоторой степени подействовав на чувства своего противника.

С Актеей он говорил, как отец с маленьким ребенком, стараясь возбудить в ней интерес рассказами о чудесах и найти доступ к ее сердцу, действуя на воображение.

Девушка внимательно слушала его, изредка спрашивая объяснения, когда что-нибудь в словах проповедника казалось ей непонятным.

Дослушав его до конца, она некоторое время задумчиво

молчала.

– Все это так странно и прекрасно, – сказала она наконец, – но правда ли это? Вот главный вопрос, правда ли это?

– Я готов засвидетельствовать жизненную истину моих слов, – отвечал проповедник.

– Но, – возразила она, – когда я была ребенком, мать водила меня в храм и рассказывала, какие удивительные и прекрасные вещи боги делали для людей? Я могу поверить, что ваш Бог добр, но и мои тоже добры.

– Мой, Бог не есть бог, сделанный человеческими руками, – сказал проповедник. – Он Бог Богов.

Актея помолчала немного, потом сказала, возвращаясь к прежней мысли:

– Эти удивительные вещи совершились недавно, и многие должны были видеть их.

– Многие видели их, – отвечал он, – и засвидетельствовали истину.

– Это происходило среди евреев, – продолжала она, – однако евреи ничего не говорили нам об этом.

Внезапная мысль мелькнула в ее голове. Она поспешно вскочила и сказала, обращаясь к Титу:

– Ты помнишь еврейскую девушку, которая называла тебя другом? Возьми носилки, ступай за ней и приведи ее сюда: она расскажет нам, точно ли все это происходило у евреев.

Сердце Тита радостно забило. Наконец-то он увидит Юдифь, услышит ее голос, будет говорить с ней.

Он поспешил исполнить поручение. Но проповедник остановил его, сказав:

– Евреи убили моего Господа, как могут они свидетельствовать о нем?

Центурион вспыхнул от гнева.

– Старик, не говори дурно о тех, кого ты не знаешь. На устах Юдифи не может быть лжи.

Сказав это, он поспешно ушел с террасы.

Проповедник снова обратился к Актее и с жаром начал доказывать ей правоту своего учения, но она лениво играла с веером и только повторяла в ответ:

– Терпение! Терпение! Послушаем, что скажет еврейская девушка.

Наконец Тит вернулся вместе с Юдифью. Девушка держалась с холодным, почти надменным достоинством. Тит был смущен и расстроен: она выслушала его поручение с ледяным молчанием и всю дорогу не говорила с ним ни слова.

Юдифь подошла к Актее и, откинув покрывало со своего лица, спросила самым презрительным тоном:

– Какое дело может быть у такой знатной госпожи к еврейской девушке?

Актея взглянула на Тита и сказала невозмутимым тоном:

– Да, твоя подруга прекрасна, безукоризненно прекрасна. Но, – продолжала она, обращаясь к Юдифи, – ты должна научиться сверкать глазами, не хмурия бровей, иначе у тебя появятся морщины на лбу. Это очень просто, смотри.

Ее губы продолжали улыбаться и лоб оставался гладким, но в глазах блеснула молния, когда она бросила взгляд на Юдифь.

После этого она звонко расхохоталась, и на губах Юдифи появилась почти ласковая улыбка. Она повторила свой вопрос, но уже любезным тоном.

– О! – воскликнула Актея. – Я и забыла.

Она передала еврейке рассказ проповедника, спрашивая, правда ли это.

– Я слыхала об этих людях, – отвечала еврейка, – они говорят, что человек, распятый за смуту – я вовсе не порицаю его за это, что этот человек был Мессия. Освободитель, посланный Богом.

– Разве он не был им? – спросила Актея.

– Разве он не был им?.. – повторила еврейка. – Когда Мессия явится, не будут спрашивать: где он? Или кто он? Тогда царства земные содрогнутся, престол воздвигнется в Сионе, и рука Господа покорит язычников!

– Зачем же ты обманул меня, старик? – с упреком спросила Актея.

Он выпрямился, и его небольшая фигура казалась гигантской.

– Бесстыдная наложница Цезаря! – вскричал он. – Ты называешь меня лжецом... Я говорю тебе, Бог сокрушит твою гордыню, и после великих страданий ты обретешь мир!

Сказав это, он бросился вон из дворца.

# Часть II

## Поппея

### XI

Дом Марка Сильвия Отона стоял на Делийском холме. Он славился не только своим великолепием, но и тем, что в нем жила Поппея Сабина, жена Отона, которая, по словам сведущих людей, соединяла в себе все прелести, за исключением добродетели.

Внутри этого огромного дома находилась ванная Поппеи, убранство которой превосходило причудливым великолепием всю роскошь Востока. Серебряный бассейн в пять ярдов длины и такой же ширины был украшен по краям фантастической резьбой и фигурами. Три алебастровые колонны с каждой стороны поддерживали потолок, посередине которого находилось окно с розовыми стеклами. По стенам между алебастровыми пилястрами были устроены панели в рамках из литого золота, украшенные мозаикой из сердолика и сардоникса, яшмы и агата, халцедона и оникса и даже гелиотропа, аметиста, бирюзы, хрусталя и серпентина. У изголовья серебряной ванны, над ложем из слоновой кости, возвышался небольшой балдахин; возле стояло огромное зеркало на золотых ножках, отражавшее все ложе. Однажды утром,

спустя несколько дней после того, как проповедник говорил во дворце, Поппея, только что вышедшая из ванны, наполненной молоком, лежала, раскинувшись на своем ложе. Из окна в потолке падал розовый свет.

– Рода, – сказала она девушке-рабыне, стоявшей за ложем, – дай-ка я посмотрю на себя.

Девушка подошла к ней и сняла с ее лица маску из особого теста, сохранявшего нежность кожи.

Поппея внимательно рассматривала свое тело, отражавшееся с головы до пят в зеркале. Потом она расплела косы и, отбросив назад пышные волосы, упавшие волнами на грудь, закинув руки за голову, переменила позу, продолжая внимательно смотреть в зеркало.

Рода, заплети мне волосы, – сказала она.

Рабыня приподняла ее, подложила под ее спину несколько подушек и подала ей ручное зеркало в жемчужной рамке. Пока девушка заплетала волосы, Поппея рассматривала в зеркале свое лицо.

Она была действительно хороша, хороша красотой гетеры, родившейся с порочным сердцем и привыкшей оболыщать людей. Она была среднего роста, с полными и безупречно пропорциональными формами; никто не мог бы отрицать силу ее чар. Но лицо, несмотря на ослепительную красоту, грозило опасностью всем добрым людям. Небольшое и круглое, с низким широким лбом, прямым носом и тонкими губами, оно поражало в особенности взглядом

больших серых глаз; такой взгляд должен был быть у Медузы, превращавшей людей в камень. Холодное, почти бесчувственное сладострастие выражалось на ее лице. Еще почти ребенком она без удержу предавалась бесстыдным порывам, унаследованным от матери, и теперь во цвете лет ее холодные черты и резкий голос говорили о жизни, посвященной разврату. Может быть, для того чтобы скрыть эти недостатки своей во всем остальном безупречной красоты, она напускала на себя вид суровой добродетели, служившей предметом шуток для всего Рима. Самая застенчивая деревенская девушка не была бы скромнее Поппеи в манерах и разговорах. От окружающих она требовала почтительности, доходя в этом до смешного; рассказывали, что она прогнала однажды молодого и богатого любовника за то, что он позволил себе какое-то вольное слово, находясь с ней наедине. Она отличалась также разборчивым вкусом, что иногда было выгодно для нее: так, когда ее муж Отон надоел ей, что случилось очень скоро после свадьбы, она перестала пускать его к себе, под тем предлогом, что на плече у него есть родимое пятно, которое оскорбляло ее чувство изящного.

Поворачивая зеркало грациозным движением руки, она тщательно осматривала свое лицо, шею и грудь. На лице ее выражалось только самое бесстрастное внимание. Вдруг ее взгляд остановился на лбу и она досадливо воскликнула:

– Рода, у меня вскочил прыщик!

Девушка принялась рассматривать дерзкий прыщик,



осмелившийся вскочить на лбу Поппеи Сабины. В самом деле она заметила крошечное пятнышко над правым глазом. С инстинктом опытной прислужницы она всплеснула руками и в ужасе выкатила глаза. Потом взяла маленькую кисточку, которой подправляла брови Поппеи, прикоснулась ею к прыщику, и тот моментально исчез. Это оказалась крошка от маски из теста, приставшая к лицу красавицы. Успокоив госпожу, девушка продолжала заплетать ее волосы. Немного погодя Поппея дотронулась рукой до своего тела и сказала:

– Покрывало, Рода, живее, должно быть, холодно: моя кожа становится шершавой...

Рабыня накинула на нее тяжелое темное одеяло, вышитое золотом по краям, и Поппея снова поднесла к лицу зеркало.

– Сегодня день моего рождения, – сказала она, – никто не дает мне тридцати лет.

Подобно большинству представительниц своего пола, она мучилась мыслью, что красота начинает пропадать с двадцатипятилетнего возраста, забывая, что, за исключением немногих женщин, которые всегда прекрасны, у большинства красота становится действительно опасной только с тридцати лет. Что касается массы ординарных или некрасивых женщин, то они привлекательнее в пятьдесят, чем в пятнадцать лет.

Девушка возразила с притворным энтузиазмом:

– Да, госпожа, тебе нельзя дать больше семнадцати лет.

– Вздор, – отвечала Поппея. – В семнадцать лет моя ру-

ка была вдвое тоньше, грудь вдвое меньше и подбородок не сливался со щеками, как теперь.

Она нарочно преувеличивала полноту своего лица и тела.

– Да, – продолжала она, – я становлюсь старухой. Мессалина была императрицей и погибла прежде, чем достигла моих лет.

Рода лукаво улыбнулась.

– Я хорошо помню ее, – продолжала Поппея. – Я была достаточно взрослой, чтобы понять ее похождения задолго до того, как Клавдий убил ее. Я плясала от радости, когда император отделался от нее. Из-за нее была казнена моя мать, – она отбила у нее любовника.

Она опять посмотрела в зеркало.

– Я красивее Мессалины, Рода, – сказала она после небольшой паузы, – да, решительно я красивее. Она была полнее меня, с черными глазами и волосами. Но у нее была желтая кожа, красное лицо, и потом она была слишком страстна и гонялась за любовниками. Глупая! Она не знала, что поймать любовника легче всего, когда бегаешь от него. Я стою десяти Мессалин. Но, – прибавила она, отвечая на какую-то тайную мысль, лежавшую в основе всех этих рассуждений о Мессалине, – Клавдий был стар, а Нерон молод, а молодому человеку не в десять, а в двести раз труднее понравиться, чем старику.

Рода отлично понимала тайные мысли своей госпожи. Вероятно, ей уже не раз приходилось слышать подобные заме-

чания. Впрочем, слышала она или нет, это не могло иметь особенного значения, потому что девушка, которая причисляет госпожу, легче всего может проникнуть в ее сердце. Рода стала оспаривать мнение Поппеи о сравнительной трудности прельстить старика и молодого. Она доказывала с большим остроумием и очевидным знанием дела, что молодые люди глупы, пылки, впечатлительны, готовы влюбиться с первого взгляда, тогда как старики хитры, лукавы, холодны и всегда склонны торговаться.

Поппея, невнимательно слушавшая ее рассуждения, положила зеркало и вздохнула.

– Хотелось бы мне знать мою судьбу.

– В Риме много гадателей, – ответила Рода.

– Да я им мало верю, – возразила Поппея, – они готовы предсказывать что угодно за деньги.

Когда волосы были заплетены, Поппея опустила голову на подушки, подтянула одеяло до самого подбородка и сказала сонным голосом:

– Посмотри, кто в атриуме.

Поппея была знатная дама, а все знатные лица в Риме окружали себя двором, каждый сообразно своим вкусам и склонностям. Так, в атриуме стойка Тразеи каждое утро собирались римские патриоты и философы, мечтавшие о воображаемых доблестях республиканской эпохи и оплакивавшие вырождение века. В доме Сенеки толпилось более пестрое общество. Великий государственный человек принимал

всех, от кого можно было услышать что-нибудь достойное внимания.

В его великолепной зале собиралась каждое утро шумная и блестящая толпа; люди с различными идеями, разными мнениями и честолюбиями; политики с рецептами против государственных зол; дюжина философов из разных стран и школ, из коих каждый готов был доказать, что остальные одиннадцать шарлатаны, ученые со своими книгами; адвокаты с рассказами о судебных процессах; солдаты с воспоминаниями о битвах и всегдашняя толпа просителей и паразитов. Тут можно было встретить Лукана, прекрасного и блестящего племянника Сенеки; Петрония, остроумного «законодателя вкуса», иногда задумчивого Персия, ускользнувшего на часок из атриума своего друга и патрона Тразеи. Сюда заходил и Корнут, мудрый и остроумный философ, и Светоний, и честный солдат Бурр. Но всех превосходил своими талантами и своим мягким, приветливым характером Сенека.

Посетители Поппеи, так же, как и всякой другой известной женщины в Риме, были иного рода. В ее атриум стекались люди, жившие только для удовольствия, молодежь и старики с рассказами о последних скандалах. Вернейшим средством получить к ней доступ было явиться с какой-нибудь неприличной сплетней об Октавии (добродетельной и отвергнутой жене Цезаря), которую она ненавидела, или об Актее, которой она завидовала. В числе посетителей были и молодые люди, слывшие ее любовниками. Но состав этой

группы так часто менялся, что никому не приходилось долго хвастаться своими успехами.

Были тут и скромные поклонники, павшие жертвой красавицы, увидав ее в амфитеатре или на улице, и добившиеся доступа в ее атриум, чтобы утолить свою страсть ее видеть. В толпе вертелись рифмоплеты с пасквилями на соперниц Поппеи, бездельники, готовые исполнять за деньги все ее поручения, продавцы духов, приворотных напитков, ядов, материй и драгоценностей, секретных средств для сохранения красоты, редкостей и тысячи других вещей.

Не каждый день Поппея показывалась своим посетителям. Иногда ей было лень одеваться, и она оставалась на ложе, пригласив к себе одного-двух наиболее близких друзей. Рода была обязана каждое утро узнавать у раба, записывавшего гостей, их имена и докладывать своей госпоже.

На этот раз она вернулась быстрее, чем обыкновенно.

– Луций Север ушел, – сказала она, – он не мог больше дожидаться, а молодой Марк Помпоний сегодня не был.

Она говорила торопливым тоном, в котором слышалось волнение.

– Ну? – воскликнула Поппея, отлично знавшая свою служанку.

– Там обычная толпа.

– Ну?

– Ты хотела узнать свою судьбу: там пришел астролог Бабилл.

– Все они шарлатаны, – возразила Поппея, бывшая тем не менее очень суеверной.

– Бабилл предсказал, что Нерон будет императором, – сказала Рода. – Всему свету известно, что он может прочесть будущее по звездам и по линиям руки.

– Он такой же, как и все остальные, – упорствовала Поппея.

– Нет, не такой же, – бойко отвечала девушка, – он еврей. Рода знала, что евреи пользовались благосклонностью Поппеи. В некоторых кружках, где религиозные новшества принимались как мода, иудаизм сделался почти манией. Поппея, не имевшая никакого понятия о еврейской теологии, тем не менее всегда покровительствовала им.

– Еврей, – сказала она. – Во всяком случае, он хоть позабавит меня своими рассказами. Позови его, Рода.

Она старательно закуталась в одеяло, оставив открытым только лицо. Минуту спустя Рода ввела Бабилла.

Астролог Бабилл был эфесский еврей, овладевший знаниями греков. Некоторые из его пророчеств оказались удачными, и самые проницательные римляне не могли решить, был ли он плут или фанатик, или и то и другое. Это был высокий худой старик с типичной еврейской наружностью. Узкий высокий лоб, выдававшиеся скулы, впалые морщинистые щеки, горбатый нос, большой и выразительный рот. Его всклокоченные волосы были закинута назад, седая борода спускалась на грудь, черные глаза сверкали из-под густых бровей.

По обычаю астрологов он выглядел оборванцем и не отличался опрятностью, в чем каждого легко убеждали обоняние и зрение.

Поппея из-под своего одеяла рассматривала посетителя. Она была немного испугана его диким видом, и в то же время он казался ей смешным.

Встретив ее взгляд, астролог поклонился ей почти до земли.

– Ты и есть тот Бабилл, – сказала она, – предсказавший так много удивительных событий?

– Римляне называют меня Бабиллом, – отвечал он звучным голосом, – и мой взор может проникать в темную даль времен.

Поппея слегка вздрогнула; голос астролога произвел на нее впечатление. Она плотнее закуталась в одеяло и сказала несколько нервным тоном:

– А если бы кто-нибудь захотел узнать свою судьбу, могли бы ты помочь?

– Я, Бабилл, – воскликнул он, – свет темного люда, око слепцов. Дочь лилии и розы, – продолжал он искусно смягчая лестью свою решимость, – чего хочешь ты от меня?

– Предскажи мне мою судьбу, – сказала она.

– Я бы желал предсказать ее только тебе, – отвечал астролог, бросая взгляд на служанку, которая вся превратилась в слух и зрение.

– Ступай, Рода, – сказала госпожа, и девушка удалилась с

видимой неохотой.

Астролог устремил пристальный взгляд на лицо Поппеи. Ей казалось, что он читал ее самые сокровенные мысли и угадывал тайные грехи, запятнавшие ее жизнь. Краска разлилась по ее лицу. Говорят, что порочные женщины не могут краснеть. Однако Поппея покраснела не хуже молоденькой девушки.

Астролог продолжал гипнотизировать ее своим неподвижным взглядом.

– Дай мне твою руку, – сказал он наконец. Она высунула из-под одеяла свою белую руку. Он повернул ее ладонью вверх и, низко наклонившись над ней, стал водить своим костлявым пальцем по розовым линиям и изгибам.

– У тебя нежная, любящая природа, – сказал он, – ты любила много и многих.

– Будущее! Будущее! – воскликнула она нетерпеливо, не замечая иронии астролога.

– Твое будущее непродолжительно, – сказал он, – непродолжительно, не славно! Многие любили тебя, многие любят тебя, и кто-то еще полюбит тебя; ты сделаешься императрицей мира... и умрешь!

Она сбросила одеяло и вскочила на ноги, забывая или не обращая внимания на свою наготу.

– Ты сказал это, еврей, и, если ты сказал правду, я дам тебе столько золота, сколько ты вешишь сам. Но если ты солгал, я велю содрать с тебя кожу и набить ее соломой, в предосте-



режение всем будущим лжецам.

## XII

Ни Юдифь, ни Тит не были счастливы; причиной этого было гордое честолюбие девушки. Конечно, она была оскорблена и раздражена его службой у Актеи.

События в садике и арест центуриона пробудили Юдифь от волшебного сна. Ей было приятно его присутствие, и она знала, что ему тоже приятно находиться возле нее. Оба они отдавались увлекавшему их течению, когда признание Тита и его арест заставили Юдифь глубже заглянуть в свое сердце.

Она любила римского солдата, это было несомненно. Она готова была принять тысячу смертей за него, но в то же время знала, что скорее согласится принять тысячу смертей, чем обвенчаться с ним. Она была женщина и не могла не любить; но она была еврейка, а для еврейской девушки не было греха чернее, не было падения глубже, чем союз с язычником, служителем идолов. В первом порыве их взаимного признания у нее мелькнула надежда, что он примет еврейскую веру, но его изумление и отказ сразу показали ей, что надеяться на это нельзя. С этого момента она увидела, что пути долга и любви расходятся. Выйти за Тита значило бы оскорбить Бога; этого она не могла сделать. Она чувствовала, что ее собственная рана смертельна, но женский инстинкт подсказывал ей, что Тит, развлекательный бесчисленны-

ми мужскими делами и хлопотами, в особенности честолюбием, может излечиться от своей страсти. С горькой нежностью она решила ускорить его исцеление. Она знала, что, чем реже он будет ее видеть, тем скорее забудет.

Намерения Юдифи были великолепны и рассуждения довольно здравы. Она не приняла в расчет только того, что многие раны, не будучи смертельными, остаются навсегда более или менее мучительными.

Тит не имел никакого понятия о женщинах. До сих пор он был поглощен другими делами. Он не помнил своей матери, сестер у него не было. Его отец командовал легионом в отдаленной провинции. До шестнадцати лет Тит жил на попечении учителя-стоика, который взял его в Афины, научил греческому языку и вселил в его невинную душу уверенность, что на земле существует только один пол – именно мужской.

Освободившись от своего наставника, молодой человек провел два года на службе под начальством отца и отличился во многих пограничных стычках. Отец, не желая подвергать своего первенца случайностям пограничной военной жизни, достал ему место центуриона в преторианской гвардии и отправил его в Рим.

Здесь он вел очень спокойную жизнь, избегая всех искушений столицы. Подобно отцу, он чувствовал отвращение к веселому римскому обществу. Его семья была богата, а отец занимал важные государственные должности, но происхождение их было довольно сомнительно, и злые языки утвер-

ждали, что прадед Тита был купец. Может быть, этим и объяснялось то, что оба, отец и сын, держались в стороне от гордой римской знати.

Тит спокойно служил, когда случай столкнул его с Юдифью.

Он не мог объяснить себе причину странного поведения Юдифи. Она принимала его до того дня, когда он признался ей в любви; она не старалась скрывать свое участие к нему: когда он был арестован, она явилась во дворец Нерона, чтобы спасти ему жизнь, – поступок, на который решились бы очень немногие из римских женщин. Теперь, когда ее самоотвержение спасло ему жизнь, она запирала дверь перед его носом, не хотела видеться с ним. Он тщетно ломал себе голову, стараясь угадать причину этого, и с каждым днем становился мрачнее и несчастнее.

Были у него и другие причины для огорчения. Дела во дворце принимали неблагоприятный оборот. Нерон в последнее время пил почти без просыпу. Тигеллин, влияние которого было поколеблено красотой Актеи и ловкостью Сенеки, снова забрал в руки несчастного императора, который под влиянием винных паров совершал ужасные жестокости. В то же время Тит заметил, что Цезарю начинает надоедать его любовница. Он, видимо, избегал ее и часто по целым неделям не заглядывал в ее комнату или на террасу.

Девушка сама начала беспокоиться. Она увядала, как цветок, схваченный морозом. Ее веселый смех раздавался все

реже и реже, и Титу казалось, что округлая линия ее щеки перестала быть совершенной.

Сенека тоже находился в очевидном смущении. Он сильно постарел. Волосы его еще более побелели, плечи еще более сгорбились. О многих вещах, происходивших во дворце, Тит не имел никакого понятия; но по некоторым жалобам, вырвавшимся у Актеи, Тит понял, что Тигеллин грубо оскорбил Сенеку, и, когда последний пожаловался императору, Нерон с иронической любезностью посоветовал ему не придавать значения шуткам пылкого молодого человека. После этого случая Нерон перестал советоваться с Сенекой о государственных делах, и правление Империей фактически попало в руки его любимца.

Сенека часто совещался с Актеей, и всякий раз при этом лицо философа было мрачно, а по щекам Актеи катились слезы.

Однажды центурион услышал свое имя.

– Я не слишком-то доверяю ему, – говорил Сенека.

Молодой человек подошел к нему и сказал:

– Я и не желаю, чтобы мне слишком доверяли. Гораздо лучше разумная недоверчивость. Однако, – прибавил он, отходя, – ты можешь доверять мне.

Сенека уныло посмотрел на него и ничего не ответил. Изменил ли он свое мнение или нет, но ни Актея, ни Сенека не говорили с Титом о своих делах.

На этих совещаниях присутствовала и Паулина, до окон-

чания обета которой оставалось всего несколько недель. Она ежедневно приходила на террасу, и Тит угадывал по жестам ее и Сенеки, что они принуждали к чему-то девушку.

Однажды весталка, уходя с террасы и проходя мимо центуриона, сказала ему:

– Воин, помни свою клятву.

Тит встретил ее взгляд таким же гордым взглядом и спокойно ответил:

– Я помню ее.

Этот случай произвел на него впечатление, и он начал следить за совещаниями на террасе с удвоенным любопытством. Сенека, по-видимому, постоянно убеждал в чем-то девушку, и весталка обращалась к ней с гневными и нетерпеливыми жестами.

Тит решил, что Сенека и весталка задумали вернуть почти исчезнувшее влияние философа. Очевидно было, что в его жизни происходит кризис. Во дворце и даже в городе смутно чувствовали, что в управлении императора что-то меняется. Двор – самый чувствительный термометр, отмечающий малейшие перемены в расположении государя. Даже такой малонаблюдательный человек, как Тит, не мог не заметить, что люди, которые несколько месяцев назад буквально ползали перед Сенекой, теперь проходили мимо него, едва кивнув головой или даже сделав вид, что вовсе не замечают его.

Поведение самого Нерона также ясно указывало, в каком положении были дела императорского воспитателя. Од-

но обстоятельство в особенности показало Риму, что Сенека потерял всякий контроль над императором. Всем было известно, что Сенека и Бурр упорно противились страсти императора к музыке и цирку. Они позволяли ему играть во дворце, но не допускали выступать публично в качестве певца или наездника.

Но в последнее время началось и это. В первый раз он выступил на одном публичном празднестве в одежде певца и исполнил свою любимую пьесу – плач Андрوماхи. Может быть, другие певцы благоразумно удержались высказывать свои дарования, и Нерон получил лавровый венок победителя.

На следующий день он явился в цирк на Марсовом поле, обогнал других наездников и первый достиг столба среди грома рукоплесканий.

Распушенная чернь посмеивалась, разжигая его страсть своими аплодисментами, но в высших классах чувство стыда и негодования брало перевес. Оно обнаружилось бы более наглядно, если бы аристократия не находила недостойного утешения в унижении Сенеки. Большинство завидовало его дарованиям, видело упрек себе в его строгой жизни и тяготилось его твердым и мудрым правлением. Эти вырожденки римлян потакали выходкам императора, зная, что это содействует падению Сенеки.

Тит видел, что власть Сенеки с каждым днем ускользает от него. Он знал также, что если сам философ готов был

Принять свое поражение с мудрым спокойствием, то Паулина не допустит его отступить без боя. Тит догадывался, что в замышляемом ими проекте должна была играть некоторую роль Актея, а вероятно, также и он. Гречанка, очевидно, не хотела делать того, что от нее требовали; что касается центуриона, то он решил сделать для Паулины и Сенеки все, что позволяет ему долг, но ни в каком случае не вступать в заговор против жизни или власти императора.

Его сомнения разрешились и его любопытство было удовлетворено неожиданным образом. Однажды утром совещание тянулось дольше, чем обыкновенно. Актея после долгого сопротивления откинулась на ложе с жестом беспомощной покорности. Лицо Паулины приняло выражение холодного торжества, а Сенека, по-видимому, с жаром благодарил девушку.

Вскоре затем они ушли, и Актея, лицо которой, казалось, окаменело от ужаса и отчаяния, осталась одна. Она провела несколько часов в своей комнате. Наконец под вечер она вышла на террасу. Тит ужаснулся, увидев смертельную бледность и отчаянное выражение ее лица. Темные круги виднелись под глазами, которые были красны от слез. Но она осилила свою слабость и спокойно сказала Титу:

– Следуй за мной.

В большом смущении пошел он за ней по переход дам дворца. Наконец она остановилась перед комнатой императора и, приказав Титу дожидаться у дверей, отдернула занавеску.

веску и вошла.

Тит слышал в комнате голоса Нерона и Тигеллина. Задуманный Сенекой план внезапно сделался ему ясен, и волосы встали дыбом на его голове. Нерон уже давно избегал девушки. Сенека и Паулина, очевидно, убедили ее, что император боится ее чар и вновь подчинится ей, если она явится к нему. Это был отчаянный и, как чувствовал Тит, бесполезный шаг. В первую минуту этот холодный расчет, приносивший жизнь этого смелого существа в жертву эгоистическим планам, вызвал в нем негодование.

Нарочно или случайно, но Актея выбрала самый неудобный, как казалось Титу, час для свидания с Нероном. Он пьянствовал со своим гнусным любимцем, и центурион каждую минуту ожидал услышать ее крик. Он решился убить Тигеллина, если тот оскорбит девушку, и защитить ее от ярости императора, к каким бы последствиям для него самого это ни привело.

Он обнажил меч и с томительной тревогой ожидал услышать вопль Актеи о помощи. Но этого не случилось.

Когда она вошла в комнату, водворилось молчание. Актея первая заговорила. Он не мог слышать ее слов, но до звуку голоса угадал, что она упрекала Нерона и осыпала гневными словами его любимца. В конце концов она выбрала момент, но не вполне удачно. Титу казалось, что оба они оробели перед ее гневом. Поток ее негодования был прерван робкими возражениями Тигеллина, затем криками императора,



которые становились все громче и громче. Наконец, Тит ясно услышал его слова; он разразился угрозами, от которых у солдата кровь леденела в жилах. Однако Актея не уступала, и голос ее, музыкальный даже в припадке гнева, сливался с дикими криками Нерона.

Внезапно император замолчал, и негодующий голос Актеи прервался хрипением. Тит бросился к занавеске. Но не успел он сделать двух шагов, как занавеска распахнулась, и появился Нерон с Актеей на руках. Лицо его посинело от бешенства, вены на лбу вздулись, налитые кровью глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит, пена струилась из разинутого рта. Он выскочил в коридор, по-видимому, не замечая Тита, поднял Актею и с ужасающим ревом бросил ее на каменный пол к ногам центуриона.

Никогда Нерон не был так близок к смерти: рука центуриона невольно замахнулась, но он удержал ее страшным усилием воли. Император скрылся за занавеской и присоединился к своему товарищу. Тит поднял бесчувственное тело девушки и отнес ее на террасу. Затем он принес воды, намочил ей лоб и Лицо. Наконец сознание вернулось к ней, и она разразилась истерическими рыданиями. Тит тщетно старался утешить ее. Немного погодя она попробовала встать, но тотчас со стоном упала на ложе. Тит снова взял ее на руки и отнес в комнату.

В отчаянии и одиночестве девушка вспомнила об отверженном и осужденном на смерть Мессии, отдавшем жизнь

за спасение людей.

Она попросила центуриона отыскать проповедника и привести его во дворец.

Вечером Тит привел его в ее комнату.

– Твой Господь, – сказала она, – обещал утешение безутешным. О! Дай мне его, потому что для меня нет более утешения на земле.

Лицо проповедника просветлело, подобно лицу ангела, он наклонился над ней и сказал:

– Добрый пастырь нашел заблудшую овцу и принес ее в свое стадо.

Потом он стал на колени подле ее ложа и молился, чтобы Всемогущий ниспослал мир в ее разбитое сердце.

### XIII

Актея две недели не выходила из своей комнаты. К счастью, кости ее оказались целы, но насилие Нерона и нервное напряжение сломили ее так, что она серьезно заболела.

В течение нескольких дней она лежала в бреду, и, когда Сенека и Паулина явились во дворец и вошли в ее комнату, она жалобно попросила Тита прогнать их, говоря, что это демоны, которые пришли ее мучить.

Они вышли на террасу, и центурион коротко рассказал им о том, что случилось накануне.

Сенека, глубоко потрясенный жалким видом Актеи, со-

вершенно упал духом.

– Я хотел исполнить мой долг, – сказал он, – но кто поручится, что то, что я сделал, было действительно моим долгом? Нет надежного якоря в этом мире, мы подобны кораблям, которые носятся по волнам в темную ночь, стремясь к воображаемому маяку.

– Настоящий человек всегда найдет прибежище в высоком и благородном честолюбии, – заметила весталка с плохо скрытым гневом.

– Честолюбие! Честолюбие! – повторил он с горечью. – Хороший путеводитель, нечего сказать, если оно заставляет сильного мужчину прятаться за беззащитной девушкой.

Голос Паулины изменился от гнева.

– Что значит жизнь какой-нибудь наложницы, – сказала она, – в сравнении с благом Рима и с благом лучшего человека в Риме.

– Я не знаю, что больше весит на весах Бога, – отвечал он.

Тит молча смотрел на эту сцену, удивляясь, что такой слабый человек мог получить такую, власть в Империи.

У центуриона не было никаких сомнений насчет долга. Его понятие о долге состояло в том, что воин обязан повиноваться офицеру, а офицер обязан требовать повиновения от воина.

Юношеские взгляды Тита на женщин вызывали в нем сострадание к незаслуженным страданиям Актеи и раздражение против холодной расчетливости, употреблявшей ее как

орудие, которое в случае надобности может быть и сломано для достижения своих целей.

Но он никогда не думал, что такие чувства и угрызения совести могут явиться у старого государственного человека, и почти разделял нетерпеливое изумление Паулины, видя нравственное замешательство Сенеки.

Сенека долго сидел молча на ложе, где обыкновенно лежала Актея. Наконец он прервал молчание.

– Я ошибся, – сказал он, – но не из трусости. Я послал слабую девушку на битву, которую должен был дать сам. Я пойду к Цезарю и поговорю с ним. Мир не скажет, что этот юноша отбросил наставления Сенеки, как изношенную одежду. Я пойду к нему немедленно.

Он встал и хотел идти, но Паулина схватила его за руку и воскликнула:

– Не ты, не ты!

Манеры этой гордой женщины сразу изменились. Лицо ее вспыхнуло, руки слегка дрожали, глаза блуждали, голос звучал тревожной мольбой.

– Подумай, – продолжала она поспешно, – подумай обо всем, что зависит от тебя, о благе Рима, о себе самом и, – прибавила она вполголоса и с очевидным смущением, – обо мне.

Сенека медлил.

Никто другой не мог бы повлиять на него. Он знал, что его жизнь – последняя преграда власти Нерона, последний

оплот Империи от крайнего расстройтва.

С другой стороны, он не мог не понимать, что раз Нерон вполне освободится от его влияния, его жизнь будет иметь значение разве только для Паулины. Это соображение имело большое значение в его глазах.

Он действительно не был трусом. Трусость вообще была несвойственна тогдашним римлянам. Большинству из них постоянно приходилось видеть смерть лицом к лицу, так что они научились встречать ее без страха и с достоинством. Сенека отлично знал, что Нерон способен убить его в припадке бешенства и что если он, продолжая раздражать тирана, потеряет последние остатки своего влияния, то кубок с ядом или меч скоро прервут нить существования. Бурр, его друг и приятель, медленно разрушался от болезни, и Сенека со всем остальным Римом был уверен, что Нерон отравил его.

Неизвестно, на чем бы остановился Сенека. Вероятно, он решил бы, во всяком случае, отправиться к Нерону, так как он с полным основанием был высокого мнения о своем такте и способности убеждать.

Но, к удивлению философа и весталки. Тит перебил его, сказав:

– Я пойду к Цезарю.

– Ты, – возразил Сенека. – С какой стати?

Паулина снова схватила его за руку и поспешно сказала:

– Пусть он идет, Сенека. Он может сообщить Цезарю о состоянии Актеи; он ничем не рискует.

Тит устремил на нее свои пронизательные серые глаза и сказал:

– Госпожа, если бы я имел тысячу жизней и рисковал ими всеми, ты все-таки предпочла бы, чтобы пошел я, а не твой друг.

Сенека нахмурился, услышав это откровенное заявление, и сказал:

– Конечно, ты можешь вполне безопасно говорить с Цезарем, но ты не можешь помочь мне и Актее, не подвергаясь опасности, и потом, если б ты даже пренебрег этой опасностью, то я не знаю, чем ты можешь помочь нам.

– Вспомни о Форуме, воин, – шепнула весталка.

– Не беспокойся, госпожа, – отвечал Тит, – я всегда помню мой долг относительно вас. А ты, господин, не смущайся. Я не знаю, помогу ли вам, но попытаюсь помочь. Я скажу Цезарю, что он поступает как зверь, оскорбляя тех, кто любит его, и как безумец, отталкивая своих мудрейших советников.

Когда Тит ушел, Сенека сказал задумчиво:

– Это сильное лекарство, гораздо сильнее, чем какое-либо другое; может быть, оно подействует. Но мое сердце неспокойно за этого молодого человека.

Они стояли на краю террасы, облокотившись на балюстраду. На самом краю горизонта, миль за двадцать от них, море искрилось в лучах полуденного солнца. Паулина выпрямила руку и воскликнула:

– Смотри, мир лежит у твоих ног, а ты боишься пожертвовать жизнью рабыни и неизвестного центуриона.

– Да, – отвечал он, – мир лежит у моих ног, но надо мною висит неведомое решение Бога. Я старик, Паулина, и мои дни не были проведены в праздности. В жизни каждого наступает время, когда руки слабеют, на сердце ложится тяжесть, власть и борьба не прельщают более, и человек жаждет покоя, мудрости, жизни среди любимых и близких сердцу.

– Неужели, – возразила она, – Сенека уподобится мальчику, который проклинает жизнь потому, что его юношеская любовь оказалась обманчивой? Нет, боги создали Сенеку не для того, чтобы сидеть за печкой и читать наставления жене, которая доит коров. Встань, человек, и вспомни, что всякий римлянин, исполняющий свой долг, обязывает Сенеку исполнять свой.

Сенека принадлежал к числу тех людей, которым величие достается помимо их воли. Он никогда не мечтал о власти и предпочел бы мирную сельскую жизнь среди любящей семьи, посвященную литературным занятиям. Сказать, что богатство и блистательное положение в Империи не имели в его глазах никакой цены, значило бы отрицать в нем человеческую природу. Но он часто сомневался, стоят ли все эти блага спокойствия в неизвестности. Припадки уныния случались с ним довольно часто, и Паулина, имевшая на него большое влияние в последние годы, с трудом возбуждала в

нем бодрость духа, обращаясь к его чувству долга.

Они вместе оставили дворец, обсуждая шансы вернуть утраченное влияние на Нерона.

Тит между тем отправился в комнату императора. Опасная сторона этого предприятия не особенно тревожила его, инстинкт подсказывал, что Нерон ограничится самое большее тем, что пустит кубком в его физиономию. Он успокаивал себя, вспоминая, что его откровенность внушила Нерону уважение, и надеялся, что еще более рискованная откровенность, на которую он решился, тоже будет принята благосклонно. Во всяком случае, представлялась возможность до некоторой степени уплатить долг Сенеке и весталке, и он не хотел упускать эту возможность.

Однако его добрые намерения на этот раз не осуществились. Придя на половину императора, он убедился, что тот не в состоянии слушать его или кого бы то ни было. Испуганные придворные сообщили центуриону, что императором овладели фурии. Припадок белой горячки, давно уже грозившей ему, разразился наконец после непомерного пьянства предыдущей ночи, и правитель мира катался по полу своей спальни, преследуемый ужасными галлюцинациями. В припадке бешенства он чуть-чуть не задушил Тигеллина, и любимец в ужасе убежал из дворца.

Тит наскоро восстановил порядок среди испуганных рабов, вошел в комнату и благодаря своей чудовищной силе смог перенести и уложить императора на ложе. Затем он по-



слал за Бабиллом, эфесским евреем, который одинаково славился как врач и как гадалец.

Этим поступком молодой воин нажил себе неумолимых врагов. В правлении Нерона медицинская профессия окончательно завоевала себе положение в обществе, и его лейб-медики были важными особами. Эти господа, не решавшиеся войти в комнату императора и не догадывавшиеся о причинах его припадка, горько жаловались на вмешательство Тита и еще сильнее на его распоряжение привести Бабилла.

Профессиональные врачи единодушно называли этого человека шарлатаном. Но он брался обыкновенно за такие случаи, которые они объявляли безнадежными, и вылечивал их. Общество лукаво посмеивалось, видя, что профессиональные нападки на Бабилла возрастают вместе с его успехами.

Небольшой отряд солдат с трудом защитил астролога от бешенства докторов, когда он шел по дворцу; когда же он вошел в спальню императора, главный дворцовый медик с двумя помощниками ворвался в комнату и осыпал его бранью.

Бабилл быстро обернулся, остановил врача повелительным жестом и в течение нескольких минут пристально смотрел ему в глаза. Зрачки доктора расширились, и лицо точно окаменело.

– На колени, – сказал Бабилл, – и не вставай до тех пор, пока я не прикажу тебе.

Тот отчаянно сопротивлялся, но какая-то непреодолимая сила заставила его встать на колени, и ни его собственные

усилия, ни его помощников не помогали, пока Бабилл не приказал ему встать и идти. После этого случая они с ужасом убегали при встрече с ним и, переменяя тактику, пробовали посылать ему отравленное вино и плоды, до которых он, разумеется, не прикасался.

Его способ лечения был очень прост и действителен: он давал императору вина, постепенно уменьшая его количество, и, кроме того, особенным образом проводил руками над лицом пациента, после чего тот засыпал.

Спустя две недели состояние Нерона значительно улучшилось. Настроение духа сделалось почти мягким, Тит решил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством, чтобы привести в исполнение свое поручение.

Однажды вечером Нерон сидел у открытого окна своей спальни и Тит стоял подле него. Во время болезни симпатия императора к молодому человеку усилилась еще больше, и теперь он постоянно требовал его к себе.

– Актея очень медленно поправляется, – сказал Тит, неожиданно взглянув на императора.

– Актея поправляется? – повторил он. – Разве она была больна?

– Она сильно разбилась тот раз, в коридоре...

Лицо, Нерона выражало полнейшее недоумение. Очевидно, он ничего не помнил. Тит смело продолжал:

– Она явилась к римскому императору, которого она любит, чтобы сказать ему, что он убивает самого себя и прене-

брегает интересами государства. Он вознаградил ее заботливость тем, что бросил ее, как мешок, на мраморный пол коридора.

Лицо императора вспыхнуло гневом.

– Не забывай, что я твой Император! – воскликнул он угрожающим голосом. Но спокойные глаза Тита не опустились перед гневным взглядом императора, и молодой человек отвечал холодным поклоном.

Нерон, ослабленный болезнью, вовсе не хотел ссориться с Титом. Гнев его быстро прошел, и, откинувшись на ложе, он закрыл лицо руками и простонал:

– Неужели я это сделал? Неужели я это сделал? Боги! Какой я негодяй!

Титу совестно было смотреть на его слезы. Вид плачущего императора внушал ему почти такое же отвращение, как и его зверский поступок с Актеей.

Одним из симптомов сумасшествия Нерона были внезапные, мгновенные переходы от одного настроения духа к другому. Так и теперь он неожиданно отнял руки от лица и разразился диким хохотом:

– Клянусь носом Августа, – воскликнул он, – если б я не был Цезарем, я бы постарался надавать пинков Цезарю. Схвати крапиву, и она не в состоянии будет ужалить тебя; надавай пинков императору, и он не решится трогать тебя. Ты можешь читать ему наставления, обманывать его, но пинки превосходят все.

Тит не был дипломатом, но инстинктивно угадывал, как ему держать себя с безумным императором. Там, где опытный знаток человеческой природы старался бы действовать систематически, Тит поступал не рассуждая, но его необдуманные действия всегда оказывались верными, и каждое свидание с императором только укрепляло его положение.

На замечания Нерона о пинках он отвечал благоразумным молчанием, и блуждающие мысли императора вернулись к Актее.

– Бедная малютка Актея! – пробормотал он, вытягиваясь на ложе. – Бедная греческая птичка в римской клетке! Что, ее красота сильно пострадала, солдат?

– Лицо Актеи осталось таким же, как было, – отвечал Тит.

– Это хорошо, – сказал Нерон. – Я не могу любить безобразную женщину, с тех пор как женился на такой. Ты не женат? Это очень умно. Но если вздумаешь жениться, послушайся моего совета: женись на глупой, женись на развратной, но не женись на уродке. Глупая женщина может очаровать тебя, и ты будешь счастлив, но уродливая возбудит в тебе отвращение, и ты проклянешь свою судьбу.

Отвращение Нерона к его несчастной жене, Октавии, тоже было одним из симптомов безумия: она была и добродетельна и прекрасна, но отвращение к ней раздувало его страсть к Актее...

– Бедная Актея! – повторил он опять. – Я пойду помирюсь с ней.

Он встал и, опираясь на руку центуриона, вышел из комнаты, в первый раз после припадка горячки.

Тит торжествовал в душе. Он исполнил свое обещание Сенеке и расквитался отчасти со своим долгом, так как не сомневался, что примирение к Актеей будет в то же время восстановлением прежнего влияния философа.

Актея мало-помалу оправлялась. Ее повреждения не были серьезны; главная опасность была в сильном нравственном потрясении. Она чувствовала себя оставленной всем миром, и одиночество подавляло ее. Власть и значение ускользнули из ее рук. Сенека, ее друг и советник, пал вместе с нею; оба были во власти свирепого и развратного тирана, Тигеллина. Помощи или утешения, было неоткуда ждать.

В таком состоянии духа нашел ее проповедник.

Он приходил к ней ежедневно, стараясь обратить ее к Тому, Кому служил сам. Многие из его поучений падало на бесплодную почву. Пробудить в греческой девушке сознание греха, покаяния и искупления было почти невозможным делом. Учение об оправдании верой было ей также недоступно. Кое-что, однако, западало в ее сердце. Она находила утешение для своей скорби в мыслях о Боге, главными качествами которого были любовь к слабым и сострадание к несчастным. Далее она начинала смутно сознавать греховность своих отношений к Нерону и необходимость покаяния.

Когда Нерон вошел в комнату Актеи, проповедник с жаром молился, стоя на коленях подле ее ложа, Император

вздрогнул в припадке ревнивого гнева.

– Кто этот человек? – вскричал он.

Тит поспешно шепнул ему:

– Это сумасшедший еврей, проповедник нового Бога.

Проповедник встал и взглянул на императора.

– Я служитель Господа, – сказал он, – и возвещаю о Нем людям.

Глухое бешенство Нерона разразилось взрывом.

– Здесь господин я, – загремел он, – и никто, кроме моих слуг, не имеет права входить сюда. Взять его! Отвести его в Мамертинскую тюрьму.

Послушный приказу императора, Тит взял проповедника за руку и вывел его к солдатам, которые отвели его в тюрьму.

Нерон, гневный, ревнивый и в то же время мучимый совестью, расхаживал взад и вперед по комнате.

Актея в тревоге и волнении лежала молча, и ее жалкое личико казалось белее мрамора на пурпурных подушках.

Вдруг император подошел к ложу, опустился на колени там же, где стоял проповедник, и прижал ее руку к своим губам.

Улыбка мелькнула на лице Актеи, затем она лишилась чувств.

## XIV

С этого момента дворцовые рабы стали внимательно от-

носиться к приказаниям Актеи, а римские интриганы пресмыкаться перед Сенекой. Мужество Тита и красота Актеи одержали полную победу. Девушка повеселела и ободрилась, Нерон снова сделался ее преданным поклонником.

До сих пор добро и зло боролись за Нерона в лице Актеи и Сенеки, с одной стороны, Тигеллина – с другой. Несмотря на природную склонность Нерона ко злу, не могло быть сомнения в исходе этой борьбы. Она была слишком неравна: представитель зла не обладал ни умом одного из своих противников, ни красотой другого. Ничтожный фаворит, находивший поддержку только в распущенности Нерона, неминуемо должен был бы пасть, если бы не нашел нового союзника, вооруженного не меньшим развратом, чем Тигеллин, большей красотой, чем Актея, большей опытностью, чем Сенека.

Пока Тигеллин должен был отступить. Император проводил утро с Актеей, день в совещаниях с Сенекой, а ночи в сравнительной трезвости. Любимец несколько раз пытался проникнуть к Нерону, но Цезарь упорно отказывался принять его и наконец дал ему понять через Сенеку, что дворец далеко не безопасное для него место. Тигеллин струсил и оставил Рим, уехав развлекаться от своих огорчений в Байю.

Но Сенека смотрел на положение дел с большим беспокойством. Сенека знал, что его власть над Нероном крайне слаба. Император показал всему Риму, как легко ему отделаться от нее. Первоначально эту власть установило и поддерживало влияние Агриппины, но оно давно миновало. Те-

перь его поддерживала только трудность, с какой каждый человек отделяется от детских воспоминаний и впечатлений: Нерон издавна привык доверяться Сенеке и полагаться на его суждение. Но раздражение могло порвать эту последнюю связь, и Сенека, к несчастью, довел раздражение своего питомца до этой роковой степени. Он не обманывался этим новым поворотом к лучшему. Если бы он действовал по своему усмотрению, то устранился бы от борьбы еще при первой неудаче. Но Паулина решилась вернуть его власть при помощи Тита и Актеи. Благодаря ничтожеству Тигеллина ее интрига удалась, и Сенека нехотя занял свое прежнее положение во главе Рима. Но он понимал, что его значение зависит от власти Актеи над императором, и предвидел, что появление более красивой и хитрой женщины поведет к его окончательной гибели.

Даже теперь его положение возбуждало в нем сильное негодование. Нерон злорадно тащил его с собой в цирк и театр, где он должен был стоять и аплодировать, пока римский император потешал чернь. Это было оскорбительно и горько для Сенеки, но, как истинный философ, он старался делать что мог теми средствами, которые попадались под руку. Он не был непреклонным стойком-патриотом, готовым разбить себе лоб о стену, но не отступить. Он видел границы возможного и не пытался переступить их. Он употреблял остаток своей власти на пользу Рима и готовился спокойно встретить свою участь, когда это влияние исчезнет.



Актея тоже с беспокойством ожидала будущее. Влияние проповедника сказалось на ней, и она чувствовала, что не может уже стать тем, кем была, пока не познала нового Бога.

Сенека однажды заметил при ней:

– Большая разница между тем, кто свободен от греха, потому что не хочет грешить, и тем, кто свободен от греха, потому что не может грешить.

Проповедник сказал ей как-то:

– Если б я не был у тебя и не говорил с тобой, ты не была бы виновна в своем грехе, но теперь для него нет извинения.

Ее положение угнетало ее все более и более, Актея жила согласно своей природе и не испытывала никаких сомнений или угрызений совести, пока христианское понятие о долге не омрачило ее веселости.

Проповедник говорил ей, что продолжать связь с Нероном значит оскорблять Господа. Это свидетельствовало о его искренности, потому что он лучше всякого другого понимал, какую поддержку его религии могла оказать Актея – самое могущественное лицо в доме Цезаря. Тем не менее он всеми силами старался доказать девушке греховность ее жизни.

Это отчасти и удалось.

Актее стало ясно презрительное отношение к ней. Она увидела, что даже ее огромное значение во дворце не может создать почетное положение в обществе, что даже ее власть над жизнью и смертью людей не могла удержать злые языки от насмешек. Теперь ей все сделалось ясно, и она затос-

ковала и забеспокоилась. Она была точно ребенок, который в первый раз узнал, что существует нечто, называемое долгом, и что требования долга сильнее природного влечения. И, подобно ребенку, она нуждалась в советах строгого, но любящего отца.

Нерон видел, что Актея уже не прежний резвый мотылек. Он находился в это время под влиянием сильнейшего прилива страсти к ней. Он беспрестанно упревал себя за свой зверский поступок с нею и обещал ей все, что только в силах исполнить человек и император, лишь бы она веселилась по-прежнему.

Он всеми силами старался угадать причину ее грусти. Некоторые ее отрывочные замечания заставили его думать, что ей хочется быть императрицей не только на деле, но и по имени. Это не могло смущать его, так как он давно уже развелся с Октавией и не раз, под влиянием своей безумной страсти, собирался жениться на Актее.

Он сообщил об этом Сенеке, сердце которого невольно дрогнуло от радости, так как женитьба императора на Актее избавляла его от многих опасностей. Но его понятия о благе и чести Рима противились этому; и он не хотел покупать личную безопасность такой ценой. Римляне еще не привыкли воздавать императорские почести рабыням и наложницам.

– Актея достойна величайших почестей, – сказал он, – но Цезарь может жениться только на женщине благородного происхождения.

Никогда еще Нерон не испытывал такого прилива злобы против Сенеки. Но он и не думал отказываться от своего намерения. Он отвернулся, решив жениться на Актее и убить Сенеку.

В тот же день вечером он явился во дворец пьяный. С ним были сенаторы Кловий Руф и Кассий Лонгин. Вместе с ними он вошел в комнату Актеи. Как только они переступили через порог, он воскликнул:

– Приветствуйте римскую императрицу!

Даже раболепные сенаторы пробормотали:

– Рабыня не может быть императрицей.

– Кловий, – загремел Нерон, – ты отказываешься от своей дочери от первого брака? Кассий, ты вздумаешь утверждать, что не знал этой тайны?

Сенаторы с изумлением смотрели на него.

– Если вы дорожите жизнью, продолжал он, – клянитесь бессмертными богами: ты, что она твоя дочь, ты же, что был ее воспитателем.

Сенаторы, дрожа от бешенства, негодования и страха, поклялись торжественной клятвой и приветствовали изумленную Актею как римскую императрицу.

Кровь бросилась Актее в лицо, она гордо подняла голову, а Цезарь стал на колени у ее ног.

Но Актея вдруг закрыла лицо руками.

– Чего желает римская императрица от своего преданного раба? – спросил Нерон, стоя перед ней на коленях.

– Неправда, я не императрица, – отвечала она.

– Как? – воскликнул он, вскакивая. – Как не императрица? Разве я не Цезарь? Разве я не могу жениться, на ком хочу?

– Нет, – отвечала она, – я не благородного происхождения, и твои свидетели дали ложную клятву. Мой отец не римский сенатор. Я дочь пастуха, и клятвы целого мира не в силах облагородить меня.

Но эти слова только укрепили решение Нерона. История, которую он придумал главным образом для того, чтобы унижить Клювия Руфа, начинала казаться правдоподобной ему самому.

Император сел рядом с Актеей и объяснил ей со всеми подробностями, что она дочь Клювия от тайного брака с Лоллией Паулиной, соперницей Агриппины. После смерти Мессалины, когда Актея была еще младенцем, Лоллия рассчитывала сделаться императрицей. Опасаясь, что ее тайна будет открыта и послужит препятствием для ее честолюбивых планов, она поручила Кассию Лонгину отвести девочку в Самос. Там она была усыновлена пастухом и воспитывалась как его дочь.

Нерон обладал удивительно живым воображением. Он выдумал эту историю тут же, не сходя с места, и чем дальше рассказывал ее, тем ярче рисовались ее детали и тем сильнее он сам начинал верить в свою выдумку.

Он рассказал, что Лоллия уже была близка к достижению

своей цели, когда Агриппине удалось разведать ее тайну и разрушить планы соперницы. Она рассказала о ребенке Сенеке, и они вытребовали ее из Самоса в Рим. Этот ребенок и была Актея. В заключение Нерон Прибавил, что полюбил ее с первого взгляда и решился при первом удобном случае жениться на ней и сделать ее римской императрицей.

Актея понимала, что вся эта история создана пылким воображением Нерона, но он рассказывал так увлеченно, с такими подробностями, что она растерялась.

На следующий день она рассказала всю историю Сенеке, и он сказал ей, что все это выдумка от начала до конца, и предостерег ее от несбыточных надежд. По его словам, жениться на ней Нерону значило потерять престол и жизнь, и он просил ее ради собственного блага противодействовать намерениям императора. Это испытание было, выше ее сил. Власть, почет, прочное положение были в ее руках; тайный стыд и унижение, терзавшие ее женское сердце, могли исчезнуть; перед ней открывалась жизнь, полная блеска и славы – и от всего этого надо было отказаться во имя долга. Ее сердце жаждало утешения и сожаления. Жизненные моральные правила Сенеки, как бы они ни были хороши, его политические советы, как бы они ни были мудры, не помогали ей. Хотелось услышать проникающий в душу голос проповедника. Но он был заключен в Мамертинскую тюрьму. Тогда она вспомнила обещание его Господа, о котором говорил проповедник: «Я всегда буду среди вас». В отчаянии она стала мо-

литься этому неведомому Утешителю, чтобы Он помог ей и укрепил ее.

Известие о намерениях императора быстро распространилось в Риме. Нерон сообщал всем, что намерен окончательно развестись с Октавией, жениться на Актее, благородной дочери Клювия Руфа, и провозгласить ее императрицей. Он даже говорил наиболее преданным членам сената, что намерен потребовать, чтобы сенат постановил воздать ей божеские почести при жизни.

И когда одни римляне, узнав о решении Нерона, предались необузданному веселью, другие были вне себя от гнева и стыда. Многие открыто говорили о кинжале Брута. Раздавались угрозы, которые немедленно доходили до ушей Нерона, и то один, то другой из римлян расплачивался жизнью за свою неосторожность.

Известие о планах Нерона в дом Пoppеи принес Петроний. Он узнал об этом от самого Цезаря и успел сложить эпиграмму, пока шел по Делийскому холму.

Когда он вошел, Пoppея была окружена толпой поклонников. Веселый молодой поэт был встречен радостными криками и при хохоте толпы рассказал о последнем скандале, украсив его не вполне приличными подробностями.

Взбешенная Пoppея вышла из атриума и велела Роде отыскать и привести астролога Бабилла. Вскоре он был приведен на Делийский холм.

Бабилл чувствовал себя не совсем спокойно. Свое проро-

чество о том, что Поппея станет императрицей, он произнес после разговора с Родой, от которой выпытал подробности о прежней жизни ее госпожи и о ее планах на будущее. Теперь он боялся, что счастье ему изменило.

Поппея встретила его гневными криками и повторила свою угрозу содрать с него кожу для острастки всем гадалкам.

Мужество Бабилла, однако, не изменило ему; он привык к женскому гневу. Он без труда успокаивал Поппею своим властным взглядом. Потом ответил на ее гнев упреками на недостаток веры и бездеятельность.

– Небо, – сказал он, – отнимает свои дары у ленивых и отдает их тем, кто работает ради них. Пророчество Истинно, и от тебя самой зависит исполнить свое высокое назначение.

Поппея позволила себя убедить и отпустила его. Бабилл внушил ей новую мысль, и после его ухода она долго обдумывала ее.

Вечером, когда Отон, ее муж, вернулся домой с какой-то оргии, он был удивлен, застав ее в своей комнате. После нескольких шуточных слов, прерываемых ласками, она осторожно намекнула ему, что желает, чтобы он дал обед в честь Цезаря.

Отон, беспечный, легкомысленный и тщеславный, сразу согласился, хотя отлично понимал цель супруги.

## XV

Сенека находился в затруднительном положении. Нерон не на шутку готовился развестись с Октавией и жениться на Актее, и старый философ сознавал, что Рим приписывает ему этот брак. Он хорошо знал о намерениях римлян, окружавших Тразею, об их стремлении восстановить древнюю олигархию и чувствовал, что сумасбродство Нерона привлечет на их сторону лучшую часть римского населения и значительную часть легионов. По его мнению, предполагаемый брак должен был до такой степени увеличить силы недовольных, что падение Нерона и уничтожение императорской власти становилось неизбежным.

Но Цезарь словно обезумел. Он и слышать не хотел об этих соображениях.

Он всегда доходил в своих увлечениях до крайностей. Начиная пить, он пил без просыпу; пускаясь в ночные похождения, доходил до величайших скандалов. Теперь его увлечение Актеей приняло такой же безумный характер. Он проводил целые дни у ног Актеи; играя ее веером, или отправлялся вместе с нею в носилках, оказывая ей знаки самого раболепного почтения на глазах всего Рима.

Все старания Сенеки отклонить его от задуманного плана были безуспешны.

Однажды утром Тит находился на террасе, когда Нерон



вышел из дворца и занял обычное место у ног Актеи. Тит уже и не прислушивался к словам Нерона – он говорил почти одно и то же, уверял в своей безграничной страсти, просил Актею повелевать ее преданнейшим рабом и клялся, что имена Актеи и Нерона заменят имена Пенелопы и Улисса как выражение супружеской верности. Потом, со свойственной ему быстротой перехода от одного к другому, он начал проклинать препятствия их браку, проклинать Октавию, законников, сенат.

Неожиданно он достал из складок своей тоги какую-то маленькую свинцовую куклу и поставил ее перед собой со знаками величайшего почтения.

Тит с любопытством стал следить за ним. Нерон окружил фигурку венком из роз, вылил перед нею кубок вина, потом стал горячо молиться своей покровительнице, прося устранить препятствия, разъединяющие его с Актеей, и избавить их обоих от козней злоумышленников.

Окончив молитву, он тщательно спрятал фигурку в тогу, уверяя Актею, что это самая могущественная богиня в мире, благосклонная к нему лично. Тут же он прибавил, что Актея не должна ревновать, потому что его чувство к богине никогда не заходило дальше почтения и благодарности.

Тит едва удерживался от смеха. По-своему он тоже был суеверен. Он верил, например, что Юдифь может читать судьбу по звездам, но искать поддержки у свинцовой куклы казалось ему забавной глупостью.

На следующий день он рассказал Сенеке об этом случае.

Он думал, что философ рассмеется, но Сенека внимательно выслушал его и пробормотал вполголоса:

– Не помогут ли нам авгуры?

Тит не понял.

– Что же они могут сделать? – спросил Тит.

– Объявить, что боги не благоприятствуют этому браку, – отвечал Сенека, которой теперь вполне доверял молодому человеку.

– Цезарь намекнет вам о своих желаниях, и все предсказания будут благоприятны; если же нет, то авгуров можно только пожалеть, – сказал Тит.

Сенека закусил губы в замешательстве, так как понимал, что центурион говорит правду.

Тит никогда не забывал о своем обещании быть другом философа и при всем своем уважении к Актее считал, что Сенека был прав и императору нельзя брать в жены наложницу.

– Нельзя ли добиться чего-нибудь при помощи астролога, например, Бабилла? – спросил он.

– Этого еврейского шарлатана? – отвечал Сенека, нетерпимо относившийся ко всякому шарлатанству.

Тит растолковал Сенеке, что астролог уже приобрел доверие Нерона, вылечив его от белой горячки. Он напомнил ему также о молве, ходившей в Риме, будто Бабилл предсказал Нерону императорский сан, когда тот еще был заброшенным

ребенком в доме Лепида, под надзором цирюльника и актера, и имел столько же шансов сделаться императором, как любой уличный мальчишка.

Авгуры были официальными гадалками и получали жалование; оставив без внимания намеки императора, они рисковали местом и жизнью. Но если бы удалось привлечь к этому делу Бабилла, он мог бы, воздействуя на императора, отклонить его от задуманного брака.

Сенека решился попытать счастья и сказал Титу:

– Пришли ко мне этого еврея и расхвали его императору, как сумеешь.

Тит послал к Бабиллу раба с приказанием явиться к Сенеке, а сам пошел на террасу, где находились Актея и Нерон.

Нерон поздоровался с ним; молодой человек почтительно осведомился о здоровье императора.

– Благодаря этому лекарю чувствую себя отлично, – сказал Нерон.

– Бабилл – удивительный человек, – сказал Тит, – он не только может вырвать человека из когтей смерти, но, говорят, его глаза читают в сердце людей, его уши слышат тайные мысли, его дух проникает в далекое будущее.

– Наш честный воин становится красноречивым, – засмеялся Нерон.

Тит покраснел, чувствуя, что выдает себя.

– Бабилл, – сказал он, – предсказал артисту Менекроту победу на состязании.

– Ну, это мог бы предсказать всякий, – заметил Нерон, – зная, что я не буду участвовать в состязании. Но и мне хотелось бы расспросить его кое о чем. Приведи его ночью, когда звезды засияют на небе. Если он ответит мне на мой вопрос, я осыплю его золотом, если же нет... – И от забавной мысли, внезапно пришедшей в голову, Нерон рассмеялся.

Тем временем Бабилл явился к Сенеке, который принял его в библиотеке.

Замечательный контраст представляли эти два человека: один – аристократ, представитель культуры, с мягким, задумчивым лицом, повелительными манерами изящно одетый; другой – типичный выходец с Востока со смешным выражением хитрости и фанатизма на лице, резкими еврейскими чертами и в грязных лохмотьях.

С минуту они пытливо смотрели друг на друга, наконец Бабилл опустил глаза.

Оба молчали: Сенека – задумчиво, Бабилл – в терпеливой выжидательной позе.

Сенека первый прервал молчание.

– Тебе, может быть, неизвестно, – сказал он, – что я скромный адепт вавилонской и халдейской мудрости.

Он указал на лежавшую перед ним древнюю рукопись.

Бабилл поклонился; лицо его оставалось бесстрастным.

– Да, – продолжал старый философ, – я обратил мои слабые и близорукие глаза к небу и разобрал грамоту судьбы.

Астролог по-прежнему молчал.

Сенека продолжал несколько торопливым тоном.

– Всему Риму известно, что блистательный Цезарь хочет вступить в брак. Звезды сказали мне, что судьба решила иначе. Можешь ли ты, с твоими великими знаниями, сказать мне, правильно ли я прочел ее решение?

При всем своем самообладании Бабилл не мог подавить радости, осветившей на мгновение его лицо. Он отвечал своим звучным голосом:

– Могущественный советник царей, правая рука повелителя легионов, твои глаза подобны глазам орла, которых не может ослепить полуденное солнце; тебе открыты тайны времен. Да, ты прав и трижды прав: судьба не благоприятствует желаниям блистательного Цезаря.

Каждый из них был до некоторой степени обманут другим. Бабилл не мог не догадаться, зачем он потребовался Сенеке, а Сенека был смущен радостью, мелькнувшей на лице астролога, когда он упомянул о неблагоприятности судьбы к браку Цезаря.

– Я рад, – сказал Сенека, – что мое предвидение подтвердилось таким глубоким исследователем тайн. Может быть, Цезарь пожелает выслушать твое предостережение.

– Если Цезарь удостоит выслушать своего раба, – отвечал Бабилл, – я объявлю ему решение судьбы.

– Смотри же, еврей, не объявляй ничего другого, – строго сказал Сенека. – Звезды сказали мне, что Цезарь пришлет за тобой, и если ты будешь говорить с ним благоразумно,

наградит тебя золотом и почестями; если же ты неосторожно разоблачишь тайны своего искусства, тебя постигнут бич и крест. Уверен ли ты, еврей, что звезды сказали истину?

Астролог слегка вздрогнул и пристально посмотрел на Сенеку.

– Да, уверен, – отвечал он.

Сенека протянул ему кошелек с золотыми монетами.

– Возьми это маленькое вознаграждение за твои усердные труды на пользу истины.

Астролог спрятал кошелек в складках своей туники и, поклонившись почти до земли, вышел.

Сенека сел и задумался. Он был недоволен собой. Притворство с астрологом было неприятно для него; гордость его возмущалась необходимостью прибегать к таким средствам. Но он видел, что положение безнадежное, и принимал отчаянные меры. Сенека чувствовал, что это последняя ставка и очень ненадежная. Как бы то ни было, он решился сыграть до конца.

Вечер был ясный и безлунный. Высоко вверху сверкала Лира, и мощные члены Геркулеса обвивали гибкие извивы Змеи. Налево и впереди, низко над горизонтом, медленно опускался Скорпион, преследуемый Стрелком. Немного правее Медведица величественно совершала свой бег вокруг Полярной Звезды. Небо озарялось бесчисленными солнцами, системами и планетами, смотревшими вниз на маленькую Землю своими неподвижными очами. Они заглядывали

в окна Мамертинской тюрьмы, где лежал в цепях проповедник, и искрились в драгоценных камнях, украшавших тогу Нерона. Нежные голоса, говорившие на неведомом языке, наполняли Вселенную.

Но император и астролог были глухи к голосам звезд, а в ушах Тита они звучали только как невнятный ропот.

Когда Бабилл вступил на террасу, на ней царствовала тишина. Лицо Нерона смутно рисовалось во мраке; астролог бросился ниц перед его ложем.

– Встань, встань! – резко сказал император, потому что даже худший из римлян чувствовал отвращение к восточному раболепию.

Бабилл встал и произнес дрожащим от притворного или действительного страха голосом:

– Властитель мира желает узнать свою судьбу от своего раба?

Нерон злобно засмеялся:

– Ошибаешься, еврей, властитель мира желает знать, что готовит судьба тебе, прежде чем кончится этот день.

Бабилл вздрогнул; он понял, что император готовит ему что-то недоброе. Обратившись к звездам, он поднял руку и как бы углубился в чтение звезд.

Нерон откинулся на ложе и продолжал злобно улыбаться.

Внезапно Бабилл начал дрожать всеми членами, и полусдавленный крик вырвался из его груди. Он бросился на колени перед Нероном.

– Ну, – спросил Нерон, – что же сказали тебе звезды?

– О я несчастный! – воскликнул астролог. – Горе мне!

Лучше бы мать моя не родила меня на свет, потому что я вижу перед собой пытки и смерть, угрожающие мне в эту же ночь, и только ты, могущественный Цезарь, можешь избавить своего несчастного раба.

– Клянусь носом Августа, – воскликнул Нерон (это была его любимая клятва), – клянусь носом Августа, он прав. Я отдал приказание схватить его, когда он будет выходить из дворца, подвергнуть бичеванию, а потом отрубить ему голову. Ну, ты спас свою шкуру, еврей.

Затем, обратившись к Титу, он прибавил:

– Эти звездочеты в самом деле могут кое-что узнать.

– Теперь, – продолжал он, обращаясь к еврею, – скажи мне что-нибудь о моей судьбе.

– Я скажу тебе, – начал астролог, возвращаясь к своей обычной полутеатральной манере, – о том, что тебе больше всего хочется знать.

– Ага! – воскликнул император. – О чем же это?..

– О женщине, на которой ты женишься.

– Какой вздор! – воскликнул Нерон. – Я женюсь на Актее и знаю это без твоих прорицаний.

– Цезарь, – отвечал астролог, – ты женишься на той, которую укажет тебе небо.

Глаза его засверкали, высокая фигура, казалось, еще выросла, он протянул вперед руки и запел монотонным голо-



СОМ:

Предки ее были могучи в битвах, мудры в совете,  
Стройны, как кедр, были жены ее народа  
Она прекраснее всех женщин, она как роза в душистом саду,  
Она жена знатного мужа, которому суждено быть императором,  
Она будет твоей женой, повелитель римлян, так решила судьба.

Песня Бабилла окончилась торжественным возгласом, и он остановился.

– Должно быть, удивительная женщина, – сказал Нерон. – А как ее имя?

– Это скрыто от моих глаз, – отвечал астролог, не желавший выпускать все свои стрелы разом.

– Но я должен знать ее мужа, который будет императором, – сказал Нерон.

Бабилл придумал это предсказание, чтобы сильнее затронуть любопытство Цезаря, возбудив в нем опасения.

– Терпение, – отвечал он, – близок час, когда тайные вещи откроются. Но, – прибавил он, видя, что лицо Нерона омрачилось, – я могу предсказать тебе многое другое.

Он снова устремил взгляд в небо и вдруг задрожал всем телом.

– А! – воскликнул он уже размеренным тоном, каким

предсказывал женитьбу Нерона. – Я вижу щит, меч и битву. Стены Сиона крепки, но голод сильнее их. Воины Господа смелы, но враги подавляют их числом. Огонь пожирает храм Господень, и стоны моего народа наполняют мир.

Он устремил свои дикие глаза на слушателей и воскликнул:

– Я говорю вам: здесь тот, в чьих руках победа, кто вступит на священный холм и будет царствовать со славой и могуществом.

Тит стоял позади ложа Нерона.

– Это я, – сказал император.

– Ты! – воскликнул Бабилл.

Тот, кого обагрит кровь его матери,  
Будет царствовать, последний Цезарь.

Астролог упал без чувств.

– Не понимаю, что он хотел сказать, – заметил Нерон. – Но что бы ни говорили звезды или он сам, я все равно женюсь на Актее.

# Книга вторая

## Часть III Поппея

### XVI

– Сегодня я буду обедать у Сильвия Отона, – сказал Нерон Актее через несколько дней после разговора с Бабиллом.

– Тебе хочется увидеть Поппею? – отвечала она с некоторой досадой.

Нерон засмеялся.

– Что за ревнивое существо женщина! Эта Поппея – жена Отона и подруга всех римских волокит. И ты боишься, что она отобьет императора у маленькой Актеи?

– Бесстыдная тварь! – воскликнула она с гневом, какой почти всегда чувствует женщина, только оступившаяся и слегка забрызгавшая платье на скользком пути, к погрузившейся в грязь по уши.

Стремление дурачить других никогда не оставляло Нерона; прослыть за проказника было приятным для него; он повернулся к Актее с лукавой усмешкой и воскликнул:

– Поппея считается прекраснейшей женщиной в Италии...

– Считается – дураками, – возразила девушка. – Умнейшего из вас нетрудно свести с ума, стоит только запастись улыбкой, баночкой притираний и духами. Разве кто-нибудь из вас знает, что Поппея каждый день сидит по четыре часа в ванне, чтобы уменьшить свою тучность, что она красится каждое утро, что ее глаза блестят из-за вина, что у нее два передних зуба фальшивые?

– Почему ты говоришь, что они фальшивые? – спросил Нерон.

– Потому что видела золотые проволоки, на которых они держатся, – отвечала она, – только мужчина мог не заметить их.

– Я заметил только хорошенькие губки, за которыми они скрываются, – сказал Нерон.

– Губки, которые могли быть хорошенькими десять лет тому назад! – воскликнула Актея с негодованием. – Но губы, торгующие своими поцелуями, скоро распухают.

Девушка надула свои действительно хорошенькие губки, и Нерон, радуясь, что подразнил ее, и желая помириться, поцеловал их.

– погоди, маленькая Актея, – сказал он, – когда ты будешь императрицей, ты сошлешь Поппею с ее фальшивыми зубами в Пондоторию, а то и к Плутону, если тебе это больше нравится.

Актея вздрогнула и покачала головой. Она не верила в возможность задуманного Нероном брака. Но она жила в сладком сне наяву и не хотела пробуждаться раньше времени. Ни разу с тех пор, как Сенека и Бурр ввели ее во дворец, Нерон не был таким рассудительным и ласковым. Болезнь отрезвила его. Но Актея не была счастлива. Ее детская веселость исчезла после того, как она познакомилась с проповедником. До тех пор она с жаром отдавалась порывам своей природы, теперь боялась и обдумывала каждое слово, каждое действие. Она многого не понимала, многому не верила из того, что говорил проповедник, но уже чувствовала смутно, что люди ответственны в своих поступках перед Богом и собственной совестью. Муки самосознания, без которых семена христианской веры не в силах пробить твердую почву человеческого сердца, терзали гречанку Актею.

Сенека чувствовал себя еще хуже. Он достиг преклонных лет: глаза его были утомлены ярким блеском мира, уши оглушены его непрерывным гулом. Утехи честолюбия и роскоши не прельщали его, он пресытился ими до тошноты. Золотой телец и власть быстрее всех наших приманок утомляют мудрого человека. Сенека добился осуществления грез своей юности; он управлял миром и убедил ей: как наука прежде всего открывает человеку его невежество, так и власть прежде всего показывает ему его бессилие. Находясь на высоте, он мог лучше видеть нужды государства, чем люди, толпившиеся у его ног, на равнине, и яснее, чем они,

понять невозможность удовлетворить эти нужды. Как бы ни возрастали могущество и богатство государства, потребности людей растут еще быстрее. Ему не раз случалось видеть, как парфянские стрелки показывали свое удивительное искусство, и порой ему казалось, что он тоже стрелок, ежедневно упражняющийся в стрельбе; но чем точнее он прицеливался, тем более ослабевала тетива. По натуре он был скорее мыслитель, чем деятель, и часто мечтал о тихой, спокойной жизни среди книг.

Оба – Сенека и Актея – чужали близость катастрофы, и оба, утомленные борьбой, примирились с ее неизбежностью, когда Нерон отправился на обед к Сильвию Отону.

Этот молодой патриций был одним из самых беспутных в шайке, окружавшей Нерона. Он был гораздо моложе Поппеи, которая обворожила его своей красотой, когда была еще женой Христина Руфа. Ей тоже понравился молодой Адонис. Их страсть отличалась бурным характером, пока они были любовниками, и начала ослабевать только после их свадьбы.

Поппея первая почувствовала разочарование и вовсе не желала скрывать своих чувств. Тогда и Отон заметил, что его иллюзии тоже рассеялись. Он женился на бесстыдной женщине, которая даже не старалась обманывать его – ее неверность была очевидна. Муж и жена разошлись; он предался веселой придворной жизни, она окружила себя свитой поклонников и любовников.

Когда Поппея предложила ему дать обед Цезарю, Отон сразу раскусил ее тайные мысли и невольно почувствовал уважение к ее мужеству.

Отон решил помочь ее планам, руководствуясь философией, характерной не только для римских мужей. Он знал, что рано или поздно она оставит его, и полагал, что и для них обоих будет выгодно, если она оставит его для Нерона.

Он начал при всяком удобном случае расхваливать ее перед Нероном: иногда повторял остроумные замечания, ею сказанные; другой раз прославлял ее красоту или приятный характер.

– Какая вы парочка! – пошутил Нерон, которому надоело слушать похвалы этой образцовой супруге.

Но Отону доставляло истинное удовольствие хвалить Поппею. Он все более и более восхищался ее прелестями, и друзья начинали подсмеиваться над ним, слушая дифирамбы женщине, о чьей репутации хорошо знали в Риме.

Поппея каждый день напоминала мужу об обещанном обеде, но он всякий раз увертывался под каким-нибудь предлогом.

Наконец ее просьбы, упреки и угрозы взяли свое, и Отон пригласил Цезаря к обеду.

Молодой человек сам удивлялся своему отвращению. Только после того, как приглашение было сделано и принято, он понял, почему ему так противно. Он, муж Полней Сабины, ревновал. Это было несомненно. В течение многих

лет он относился к поведению жены с полнейшим равнодушием. Их взаимная страсть угасла; ему представлялась возможность отделаться от недостойной женщины, и вот по какой-то иронии судьбы он воспылил смешной ревностью.

Он возвращался домой на Делийский холм, терзаясь невыразимым волнением.

Поппея была одна в своей комнате, когда он вошел. Не глядя на нее, он сказал, что император удостоит их дом своим посещением.

Поппея поблагодарила его. Тогда он потерял самообладание. Глубокий крик – не то стон, не то ругательство – вырвался из его губ; он бросил на ее прекрасное лицо взгляд, горевший страстью, схватил ее, прижал к груди и осыпал поцелуями.

Поппея слегка вспыхнула, грудь ее поднялась и опустилась, и слабая улыбка тронула углы губ. Но это было чувство гордости. Она видела у своих ног много людей; но все это были или пошлая молодежь, или одуревшие старики; мудрено ли, что они не могли устоять перед обаянием прекраснейшей женщины в Италии.

Но это был ее муж, знавший о ее неверности, относившийся к ней в течение многих лет с презрением, и он-то воспылил страстью при мысли, что она бросает его.

К несчастному Отону она не чувствовала никакого сожаления.

Она вырвалась из его объятий, дала ему несколько советов



относительно устройства пира и ушла.

Наконец наступил достопамятный день, когда императорские носилки явились на Делийском холме. Отон принял Нерона с горделивой вежливостью, характеризовавшей отношения патрициев к императору.

Рим не признавал божественного права; Цезарь считался таким же, как и всякий благородный гражданин, и римляне, почтительно признавая авторитет и достоинство его сана, в частной жизни относились к нему как к равному. Даже Нерону никогда не приходило в голову, что он, как римский гражданин, сколько-нибудь выше своего друга Сильвия Отона, потому что ему удалось сделаться императором.

Несколько молодых товарищей императора вышли ему навстречу.

Нерон с некоторым любопытством ожидал появления Поппеи. Он видел ее только издали в амфитеатре. Он не старался встретиться с нею, так как вообще избегал знатных дам с сомнительной репутацией, может быть, потому, что хорошо изучил их в лице своей матери.

Компания весело болтала и смеялась шуткам поэта Петрония, бывшего среди приглашенных.

Обеденный зал был с большими окнами, сквозь которые виднелись прекрасные фонтаны и деревья в саду Отона. Вокруг стола стояли три великолепно убранных ложа: одно на верхнем конце и два по бокам. На каждом могли поместиться трое людей. Нерон занял почетное место на правом кон-

це верхнего ложа, Отон должен был сесть на переднем конце ложа по правую руку от стола. Но к удивлению императора, хозяин с очевидным смущением, и нехотя занял место рядом с ним на переднем конце стола – место, которое позднее обычай предписывал занимать хозяину дома.

Гости уселись, рабы уже подали воду в серебряных тазах, когда занавесь перед дверью отдернулась, и явилась Пoppея в сопровождении Роды. Она была одета с изысканной простотой. Только один огромный сапфир красовался в ее волосах. На ней была тонкая белая туника, а поверх нее прекрасная шелковая накидка.

Отон взглянул на нее с удивлением, а Нерон вспыхнул при виде накидки из тирского пурпура, который могли носить только Цезари, ревниво охранявшие эту привилегию. Всем присутствовавшим было известно, что одна из прекраснейших женщин в Риме несколько дней тому назад решила явиться в амфитеатре в такой же накидке и Нерон без церемоний сорвал ее с плеч.

Одежда Пoppеи была вызовом, да и все ее обращение имело вызывающий характер, когда она заняла свободное место, на котором должен был сидеть ее муж. Обыкновенно женщины сидели за столом, но Пoppея, в первый раз открыто пренебрегая общественными приличиями, облокотилась на локоть по обычаю мужчин, а служанка покрыла ее ноги богатым покрывалом.

Нерон сдался с первого приступа. Все, что он слышал о ее

красоте и чарах, далеко уступало действительности. Он пожирал ее взглядом, тогда как она играла краем накидки, как бы поддразнивая его и желая, чтобы он гневным взглядом приказал ей снять запрещенную одежду.

Но Нерон был далек от мысли об этом.

– Царица любви, – сказал он, – почтила Цезаря, надев его пурпур.

Потом, подняв кубок с вином и слегка поклонившись Поппее, он воскликнул:

– Пью за царицу любви!

Все радостно подхватили тост, за столом зашумели. И лишь Отон сидел хмурый, с полным кубком перед собой.

– Как, Отон! – насмешливо воскликнул Нерон. – Ты не Принимаешь моего тоста?

– Нет, – резко отвечал супруг, – я пью за царицу любви!

Он осушил кубок и разбил драгоценный хрусталь об пол.

Выражение детского удовольствия мелькнуло на лице Поппеи. Волнение Отона доставляло ей наслаждение. Она подумала, что он, пожалуй, решится на самоубийство из любви к ней, и глаза ее переходили от Нерона к мужу с выражением невинной радости.

Встретив огненный взгляд Нерона, Поппея слегка отвернула голову, что дало ей возможность принять новую и еще более восхитительную позу.

В жилах Нерона недаром текла кровь двенадцати знатных поколений; несмотря на свое безумие и распущенность, он

знал, как держать себя в обществе и поддерживать учтивый разговор с дамой.

Обед уже заканчивался, прежде чем красавица успела вступить в настоящую борьбу со своим восхищенным противником. Поднося к губам кубок с вином, она сказала:

– Позволю себе поздравить Цезаря с предстоящим браком.

– Браком? – удивился он. – Каким браком?

– С Актеей, благородной дочерью сенатора Клювия Руфа, воспитанной пастухом в Самосе, – отвечала Поппея самым сладким тоном.

– Как, – воскликнул Нерон, – ты слышала о глупой истории, которую задумала распространить эта гречанка? Нахальство греческих женщин невозможно описать.

– В особенности когда они христианки, – прибавила она вполголоса.

– Христианки? Что это такое? – спросил Нерон, никогда не слыхавший о новой вере.

– Христианство – суеверие, распространенное среди худшей части евреев, – отвечала она, – говорят, что христиане придерживаются самых возмутительных обычаев и что с ним принадлежит много развратных женщин.

Поппея Сабина говорила об этом с видимым отвращением.

– Клянусь богами, – воскликнул Нерон, – я встретил однажды у нее какого-то старого еврея и отправил его в Ма-

мертинскую тюрьму.

– Без сомнения, какой-нибудь священник этой нелепой секты, – сказала она.

Нерон покраснел от гнева и беспокойно заворочался на своем ложе.

Поппея поняла, что сделала ошибку, возбудив его ревность. Пока мужчина ревнует, он не может быть равнодушным.

Нерон собирался уйти, но Поппея постаралась укротить его ласковыми взглядами.

– Я знаю, что ты никогда не женишься на рабыне, – прошептала она.

– Почему ты так думаешь? – спросил Нерон, который и сам не был уверен в этом.

– Я прочла это по звездам.

– Странно, – заметил он, – мне говорил то же самое один астролог.

– О, – воскликнула она, – астрология – вздор.

– Нет, – твердо ответил Нерон. – Бабилл предсказал мне многое верно. Притом я и сам гадатель. Дай мне твою руку.

Он наклонился к ней, и Поппея, приподнявшись на ложе, протянула ему руку. Он схватил ее и дрожащими пальцами стал ощупывать вены до самого локтя. Он молчал, но лицо его говорило яснее всяких слов.

Поппея отняла у него руку и встала. Нерон схватил вышитый край ее накидки и прошептал:

– Царица любви! Сегодня ты носишь этот пурпур по праву красоты, завтра будешь носить его по праву сана.

Невыразимая гордость блеснула в серых глазах Поппеи, и она оставила комнату.

## XVII

Услышав от самого Нерона рассказ о банкете у Сильвия Отона и похвалы Поппее, Сенека решил про себя, что наконец-то тигр нашел свою тигрицу.

– Что за глаза, Сенека! – восклицал влюбленный император. – Они просто сжигают. А голос! Точно флейта. А черты лица! Боги! Какое совершенство. Ты знаешь, Сенека, красота – моя пища и питье, я преклоняюсь перед ней.

Сенека вздохнул; он чувствовал, что приближается ураган, который должен погубить его.

– Ах, Цезарь! – сказал он неохотно. – Лучше бы ты поменьше любил красоту и побольше доброту.

– Нет, я тебя поймаю! – воскликнул Нерон, который был на этот раз в отличном расположении духа. – Вы, философы, слишком положительный народ. Я утверждаю, что красота есть по крайней мере лучшее дитя доброты. Что такое добродетель? Симметрия духа. А красотой та? Симметрия тела. Но вряд ли найдутся двое людей, согласных в том, что такое симметрия духа. Стоики говорят одно, эпикурейцы – другое, Платон – третье, Аристотель – четвертое; ты, мой достойный

учитель, соглашаешься отчасти со всеми ними и ни с кем вполне; а большинство людей ничего не знают да и не хотят знать об этих вещах. Теперь обратимся к симметрии тела. Каждый, у кого есть глаза на лбу, может видеть и оценить ее, насчет нее не возникает никаких сомнений, она вдохновляет поэтов и музыкантов; она сохраняется для нас и художниками, и скульпторами, и богами, которые наделяют ею своих любимцев; она всегда с нами. Тогда как твоя симметрия духа существует только в воображении философов, которые выдумали ее, чтобы сбивать с толку простых людей. Поэтому, превосходный Сенека, я утверждаю, что лучше служить красоте, чем добродетели.

Нерон вообще не любил длинных рассуждений и не решился спорить с Сенекой. Его неожиданная речь служила для философа лишним доказательством того, что, ученик освободился от влияния учителя. Несколько месяцев тому назад Сенека отвечал бы ему целой лекцией. Теперь он только покачал головой, заметив:

– Всякая добродетель – красота, но плохой логик тот, кто вздумает утверждать обратное. Цикута красива, но не годится для еды, женщина...

– Ба! – шутливо воскликнул Нерон. – Что ты знаешь о женщинах, старый философ? – На этом разговор и кончился.

Вскоре еще более тяжкий удар обрушился на Сенеку. Его верный друг, Бурр, скончался, отравленный, как все говорили, императором. Нерон никогда не любил и никогда не

боялся его. Положение старого солдата было гораздо опаснее, чем положение Сенеки, потому что Цезарь до сих пор сохранил уважение к своему старому наставнику, и что еще важнее, в его противоречивой натуре привязанность к философу уживалась рядом с ненавистью. Смерть Бурра была во многих отношениях невыгодна для Сенеки. Бурр командовал преторианской гвардией и был, может быть, самым могущественным лицом в Империи. Его войско было предано ему, и, пока он был жив, Сенека чувствовал, что его значение опирается, по крайней мере до известной степени, на прочном основании.

Но в самый день смерти Бурра Нерон вызвал Тигеллина из Баи и поручил ему освободившееся место.

Это было сделано по совету Поппеи, тщеславие которой требовало унижения Сенеки. Теперь она часто появлялась во дворце и прогуливалась с Нероном по террасе. Иногда она заставала здесь Актею, одинокую и покинутую, сидевшую на своем обычном месте.

Тогда Поппея, бросив презрительный взгляд на девушку, говорила:

– Цезарь, прикажи своей рабыне уйти; я хону поговорить с тобой о делах.

И Нерон беспрекословно говорил:

– Ступай в свою комнату, девушка, мы желаем остаться одни.

Гречанка Актея не могла соперничать с римской дамой,



Тайный голос всегда подсказывал ей, что мечты о счастье и величии должны рассеяться, и она уступала Поппее ее добычу без всякого сопротивления. Она тихонько уходила в свою комнату, и тут странные мысли о Боге, о долге и раскаянии волновали ее бедную маленькую головку, пока детский сон не смыкал ее усталых глаз и целебный бальзам забвения умиротворял ее истерзанное сердце. В доме, где ее слово когда-то было законом, она значила теперь меньше, чем последняя судомойка. Со времени обеда у Отона Нерон ни разу не заходил к ней, не говорил ей ни слова, за исключением тех случаев, когда Поппея приказывала прогнать ее с террасы. Только Сенека остался неизменным и относился к ней так же дружелюбно и ласково, как в лучшие дни. Но он не мог оказать ей большой поддержки, так как он сам утратил влияние. Даже жизнь его находилась в опасности, потому что Тигеллин в присутствии императора, который теперь не останавливал приятеля, клялся скоро убить Сенеку.

Старого философа поддерживала его гордость. Он знал, что грубость Тигеллина и жестокость Поппеи в конце концов одержат верх, но решил встретиться смерть лицом к лицу.

Он хотел противопоставить всю свою силу и искусство убеждения красоте и честолюбию Поппеи.

Уходя однажды после грустного разговора с Актеей, он застал Нерона и его новую возлюбленную на террасе. Нерон встретил его очень любезно и сообщил о своем намерении развестись с женой, устроить развод Сильвия Отона, кото-

рый будет отправлен в почетную ссылку в провинцию, и, наконец, жениться на прекрасной женщине, сидевшей возле него.

На этот раз благоразумие изменило Сенеке. Обыкновенно он сохранял полное спокойствие и самообладание, но теперь не выдержал и дал волю своему гневу. Нерона он оставил в покое, ограничившись замечанием, что от Энобарба и Агриппины только Нерон и мог родиться, но гнев его вылился главным образом на Поппею.

Сенека умел язвить женщинам. Его ирония колола подобно игле и всегда попадала в самые больные места.

Посторонний человек, слушая его разговор с Поппеей, мог бы сказать, что он выкалывал на ее лбу слово «развратница» и потом натирал больное место солью. Он упрекал ее в пороках, которые она всеми силами скрывала, и игнорировал те, которые она выставляла напоказ. Он даже преувеличил ее возраст, называя ее старухой, истощенной страстями и продолжавшей развратничать только из любви к пороку.

Цезарь глядел на него, разинув рот от изумления. Он был слишком удивлен, чтобы рассердиться. Сенека не раз читал ему нотации, но никогда еще не разносил его. Поппея сидела, посинев от бешенства, дрожа от злобы и онемев от стыда.

Впрочем, волнение никогда не лишало ее присутствия духа, и, когда Сенека ушел, она не замедлила обратить его гнев в свою пользу. Опытная в искусстве одурачивать людей, она бросилась к ногам Нерона и, заливаясь слезами, просила его

оставить всякую мысль об их женитьбе.

Этой ловкой выходки было бы достаточно, чтобы укрепить решение Нерона, если бы даже оно поколебалось. Он разразился гневной тирадой, и, размахивая руками, требовал у окружающих предметов ответить ему: император он или нет? Может он жениться на прекраснейшей женщине в мире, если это ему угодно, или нет? Имеет он право казнить наглого старого педанта, осмелившегося оскорбить его нареченную невесту, или нет?

Поппея, продолжая плакать и обнимать его колени, умоляла его успокоиться и сжалиться над несчастной женщиной. Она говорила, что «любит его больше жизни», но более дорожит его славой и величием. Она знает, что поплатится жизнью, если выйдет за него, и с радостью согласилась бы на такую плату. Но их брак угрожает опасностью его жизни и престолу, и она не может купить счастье такой ценой. Сенека не только решил убить ее, как сейчас старался убить ее репутацию; он строит козни и против Нерона, чтобы самому завладеть императорским саном. Коварная женщина кончила свою речь просьбой выслать ее из Рима к Отону.

Как она и рассчитывала, слова ее только распалили бешенство Нерона. Он вырвался из ее рук с такой силой, что она упала ничком. Изрыгая проклятия, он заметался, как зверь, по террасе; и она, лежа на полу и видя его неистовство, с ужасом подумала о своей судьбе.

Выйдя из дворца, Сенека пошел к Паулине. Весталка уже

оставила свое служение в храме со смешанным чувством сожаления и радости. Свобода, которую она получила, была приятна, но потеря власти и сана наполняла сердце горечью. Еще более беспокоило ее равнодушие Сенеки. Теперь у нее не было предлога, чтобы посещать дворец, где она ежедневно в течение нескольких лет встречалась с ним. Старый сановник сам потерял друга, но, поглощенный государственными делами и дворцовыми интригами, еще ни разу не собрался навестить ее.

Паулина была удивлена и оскорблена и нередко с неудовольствием смотрела в зеркало на свое красивое лицо и отворачивалась, вздыхая и пожимая плечами.

Когда Сенека явился к Паулине, она встретила его очень сдержанно. Он был старик, а в старости люди теряют способность замечать перемены в настроении других людей. Но он был также опытный царедворец и всегда разбирался в выражении лиц и голосах своих собеседников.

При первом взгляде на Паулину Сенека понял, что она сердится за то, что он так долго не появлялся.

Чувства Сенеки к этой женщине соответствовали его возрасту. Он был очень привязан к ней, но уже давно пережил любовный пыл и страсть. Для него любить не значило дрожать в смутном ожидании, мечтать о поцелуях, жаждать физической близости. Его любовь была возвышенной и благородной, любовью ради любви. Это была любовь к товарищу и помощнику – спокойная, сильная и прочная; и тот, кто лю-

бит такой любовью, – не станет забывать дела ради пустых приличий. Чувства же Паулины были несколько иного рода. Это была женщина в цвете лет, жившая до сих пор сдержанно и целомудренно. Вместе со свободой у нее явилось желание любви. Она полюбила Сенеку, несмотря на его старость, и самые блестящие франты Рима не могли бы поколебать ее привязанность. Главным в ее любви было честолюбие. Но хотя ее любовь поддерживалась гордостью, а чувство не имело ничего общего с простыми чувствами обыкновенной женщины, – она все-таки жаждала со стороны своего возлюбленного доказательств любви, которой она так долго была лишена. Она принадлежала к лучшему типу римских женщин – целомудренная, гордая, твердая, смелая и самоуверенная – и все же была истинной женщиной, бессознательно требовавшей обожания.

Сенека видел ее насквозь и сожалел, что позабыл о громадном различии между женской и мужской дружбой. Он обратился к ней с улыбкой:

– Прости, Паулина, в последнее время у меня были неприятности. Я пришел наконец за советом к единственному другу, который у меня остался.

Кровь прихлынула к ее щекам, она положила свою руку на его.

– Да, – продолжал он, – бремя становится слишком тяжело для моих старых плеч, и я решил переложить часть его на тебя.

Она еще больше покраснела.

– Кто же в делем мире с такой радостью разделит твои огорчения и опасности, как я?

– Никто! Я знаю это, – отвечал он. – Это-то и не позволяло мне до сих пор огорчать твою новую жизнь моими затруднениями. Всегда хочется доставить радость, а не горе тому, кого... любишь.

Он произнес эти последние слова с особенным выражением.

Лицо Паулины просветлело; она крепко пожала его руку.

– Какими глупцами могут быть мудрые люди! – воскликнула она. – Неужели ты не видишь, что твой успех всегда радует, твоя неудача всегда огорчает меня, но сильнее всего я огорчаюсь, когда ты забываешь обо мне и перестаешь делиться со мной своими затруднениями и горестями.

Он, в свою очередь, пожал ей руку.

– Итак, если ты хочешь остаться другом того, кто осужден на гибель, слушай.

И он рассказал, как Пoppея втерлась во дворец, а Тигеллин сделался начальником преторианцев.

– Это в самом деле скверно, – сказала она. – С самодурством Нерона мы можем справиться, рабов и вольноотпущенных можем сделать своими орудиями, но Пoppея!..

Она помолчала, потом продолжала задумчиво:

– Сенека, неужели ты думаешь, что мир позволит управлять собой таким чудовищам? Неужели не наступит час,

когда люди поднимутся против их низости и жестокости и скажут: «Мы, римляне, управляющие миром, лучше развратниц, воспеваемых поэтами, благороднее грязной шайки, окружающей Цезаря». Добродетель не исчезает с лица земли лишь потому, что Нерон распутничает на Палатине.

Сенека горько засмеялся.

– Ты, римлянка, говоришь такое! Твои слова очень красивы и вызвали бы рукоплескания в доме Тразеи.

– Я говорю их наедине с Сенекой, а не в зале Тразеи, – сказала она.

Он продолжал, не обращая внимания:

– Да, это звучные и громкие слова, но они будут заглушены радостными криками, когда император станем раздавать деньги легионам или хлеб черни. Добродетель всегда была и будет в мире. Но толпа старается только набить брюхо и потешить свою глупость, и тогда даже идиот может управлять ею.

– А мудрец и подавно! – воскликнула она. – Стыдись, Сенека! Трус неповинен в своей трусости, но, когда смелый человек разыгрывает роль труса, ему нет извинения. Разве не на тебе сосредоточиваются надежды лучших римлян?

– Нет, – отвечал он, – большинство лучших римлян не доверяют мне и не любят меня. Я убедился, что хорошие люди чаще заблуждаются, чем дурные. Если бы добрые желания шли рука об руку с мудростью и благоразумием, золотой век скоро вернулся бы на землю.

– И если бы мудрость всегда шла рука об руку с решимостью, – сказала она, – Сенека не отклонился бы от своего долга. Не таков был дух наших отцов, свергавших тиранов народа, который вырвал свои права из их рук. Брут не проповедовал, когда потребовались удары...

– Мир сделался старше, – сказал он грустно, – я тоже состарился, притом я пережил стоицизм и энтузиазм вместе с моей юностью. Я никогда не пытался переделать мир по своему вкусу, но старался только делать то, что считал наилучшим. Немногое удалось мне исполнить, да и нельзя было исполнить много; но я делал все, что было в моих силах, и теперь, когда моя задача кончена, единственный друг, остающийся у меня, осыпает меня упреками.

Ее гнев и раздражение исчезли, и, повинуясь непреодолимому порыву, она встала и поцеловала его в лоб. Он потянул ее за руку и усадил рядом с собой. Она прошептала:

– Мужайся, мужайся! Подумай, какой позор, какое пятно для римской чести – правление этого безумца! Неужели история скажет: «Сенека был слугой Нерона». Собери вокруг себя истинных римлян, свергни его и царствуй сам на счастье и славу мира.

Мечты, Паулина, безумные мечты! – отвечал он. – Бог, создавший мир, может все изменить, но не человек. Не мир безумен и развратен потому, что Нерон царствует, а Нерон царствует потому, что мир безумен и развратен! Если бы я и мог свергнуть его и сделал это, Рим остался бы таким же,



как прежде! Да и история вместо того, чтобы благословить меня, прокляла бы безумство старика, вздумавшего наполнить мир Смятением. Он будет свергнут – это несомненно, потому что порок и безумие не могут устоять против жадности и честолюбия; но это будет сделано не ради тех целей и стремлений, о которых ты мечтаешь. Наше общество подобно строительству храма, для которого каждый приносит свой камень, и какой бы огромный камень не принес тот или другой, он не может изменить общего плана.

Паулина молчала, а он продолжал:

– Что касается меня, то я желал бы окончить остаток дней моих в мире. Завтра я пойду к Цезарю и попрошу позволения удалиться в мою виллу, к моим книгам.

Помолчав, он прибавил:

– Если б я царствовал на Палатине, я просил бы Паулину разделить со мной мой венец, но...

– Я пробудилась, – воскликнула она, – я не грежу больше. Я не желаю ничего другого, как разделить твою участь: все равно, в величии или в изгнании, в богатстве или в бедности. Я грезил о величии, но только для тебя...

Нежная улыбка осветила лицо Сенеки, и он поцеловал Паулину.

– Так ты находишь сладким такое старое яблоко? Правда, ты снова делаешь меня молодым.

## XVIII

Забыл ли Тит о Юдифи? Быть может, он и сам затруднился бы ответить на этот вопрос. Без сомнения, в глубине его сердца до сих пор шевелились подавленное чувство и оскорбленная гордость. Но Юдифь оказалась права: рана Тита не была неизлечима. Никогда римлянин не умирал от любви. Грек утопил бы свое горе в вине, галл или германец прибегли бы к самоубийству, а римлянин утешался немногими философскими афоризмами и усерднее, чем когда-либо, предавался своему делу.

Центурион, находясь в доме Цезаря, был поглощен исполнением своих обязанностей. Служить Цезарю было нелегким делом. Причуды Цезаря и фантазии Актеи не позволяли Титу думать о чем-нибудь другом.

Но смерть Бурра существенно изменила его положение. Тигеллин, ненавидевший Тита всей душой, сделался его начальником. Попав снова в милость, любимец стал нахальнее и злее, чем когда-либо. Он запрещал Титу являться к императору и насмешливо приказывал ему сторожить покинутую гречанку.

Положение Тита сделалось и неприятным и опасным; он знал, что Тигеллин не преминет отделаться от него, если представится случай. Тогда его мысли снова вернулись к Юдифи. Он начал упрекать себя в равнодушии. Но раскаять-

ся было легче, чем поправить дело.

Не он бросил Юдифь, а она отреклась от него, и он чувствовал, что всякая попытка с его стороны к возобновлению прежних отношений кончится неудачей. До сих пор он любил ее и только ее, а гордость, так же, как и страсть, не позволяет молодому человеку забыть о женщине, которая впервые затронула его сердце.

Тит решил еще раз повидаться с Юдифью. После многих колебаний, опасаясь нового отказа, он собрал все свое мужество и решил под вечер отправиться к ней в дом.

Он шел по коридору дворца, как вдруг услышал звуки голосов, смеха и криков.

Он ускорил шаги, зная, что с возвращением Тигеллина во дворе возобновились прежние безумные потехи и совершалось много такого, что ему вовсе не хотелось видеть. Он не мог предотвратить эти оргии и чувствовал, что присутствовать на них человеку, не умеющему скрыть своего отвращения, не совсем безопасно.

Он спешил уйти, но шум позади него все приближался. Наконец Тит остановился и обернулся как раз в ту минуту, когда толпа молодых людей выбежала из бокового коридора и устремилась на него.

Солдат тотчас увидел, в чем дело. У каждого из бежавших было по тяжелому бичу, а впереди группы находился мальчик лет двенадцати или четырнадцати, летевший со всех ног, стараясь спастись от ударов, которыми угощали его молодые

люди. Он был раздет догола, кровь струилась по его спине и его жалобные крики тонули в смехе и восклицаниях толпы.

Нерон и Тигеллин забавлялись охотой. Это была новая забава, изобретенная начальником преторианской гвардии и доставлявшая Цезарю много радости. Было уже устроено несколько прекрасных погонь, но однажды роль дичи должна была играть девочка-рабыня, Пробежав несколько шагов и получив с дюжину ударов, она упала без чувств и ничто не могло вернуть ей сознание. Нерон рассердился и, не желая расставаться с новой забавой, выразил намерение заставить служить дичью самого Тигеллина. Испуганный любитель к следующему разу решил выбрать здорового и проворного мальчика.

На этот раз успех превзошел всякие ожидания. Мальчик бегал целые четверть часа, прежде чем выбрался в коридор, где стоял Тит. Он великолепно увертывался и бросался в стороны, и крики его, когда бичи падали на его спину, приводили в восторг охотников, которые задыхались от смеха. Мальчик, за которым гнались с бичами, одуревший, бросился к Титу и обвил его колени.

Толпа охотников взмахнула бичами, и коридор огласился звуками ударов и криками: «Вставай, собака!», «Беги!», «Спасайся!»

Тит, как мы уже не раз могли убедиться, не обладал мгновенной сообразительностью, и нередко случалось, что его кулаки начинали действовать прежде, чем обдумывала голова.

Проворные руки солдата уже вырвали бич у ближайшего из молодых людей, отвесили ему два здоровых удара, переломили рукоятку бича и швырнули его в сторону, прежде чем Тит подумал, что же делать.

Молодой человек, не кто иной, как Тигеллин, бросился в толпу товарищей со стоном и ругательствами. Взрыв смеха огласил коридор, и бичи обратились от мальчика к его защитнику скорее ради шутки, чем серьезно. Но Тит не понимал подобных шуток, и, если бы нападающие не были пьяны, они могли бы догадаться, что это столкновение угрожает кончиться для них вовсе не забавно. Но они крутились вокруг солдата, угрожая ему бичами.

Кровь прихлынула к лицу Тита; его серые глаза засверкали необычным блеском и брови нахмурились. Бичи шелкали под самым носом у солдата. Наконец один из молодых людей подскочил к нему вплотную.

Тит поднял свой здоровенный кулак и с размаху опустил его на физиономию нападающего. Тот опрокинулся точно от удара катапульты, сбил с ног одного из своих товарищей и растянулся без чувств на полу.

На минуту воцарилось молчание, потом смех заменился криками бешенства. Бичи подняты уже не на шутку и удары посыпались на центуриона. Он окончательно вышел из себя и, оттолкнув мальчика, который все еще цеплялся за его колени, бросился вперед. Охотники инстинктивно отшатнулись. В одно мгновение он поймал несколько бичей, вырвал

их, в следующее мгновение схватил ближайшего из нападающих и отвесил ему пару оплеух. Борьба происходила в полутемном коридоре, и Тит не мог различить лиц. В эту минуту явились двое рабов с факелами. Тигеллин, благоразумно державшийся позади толпы, бросил бич и выхватил кинжал.

– Изменник! – заревел он. – Убейте, убейте его!

Более десятка кинжалов устремились на Тита, и бешеная толпа стала напирать на него. Несмотря на свою чудовищную силу, он видел, что дело плохо: руки его уже были оцарапаны во многих местах, когда он отражал удары, и он чувствовал, что неравный бой скоро кончится.

Но когда он уже считал себя погибшим, громкое восклицание вырвалось из уст человека, стоявшего позади толпы, и он с силой, лишь немного уступавшей силе солдата, пробился в первые ряды и остановился перед центурионом. У Тита опустились руки: он узнал императора.

Нерон повернулся к своим товарищам и воскликнул:

– Это человек, который поколотил Цезаря!

– Убейте его! – подхватил Тигеллин. – Он поколотил нашего божественного Цезаря!

Крики «Убейте его!» снова огласили коридор, и кинжалы засверкали при свете факелов. Центурион прошептал имя Юдифи и наклонил голову.

Но между ним и толпой стоял Нерон, и, когда Тигеллин, подстрекаемый вином и ненавистью, пробился вперед с кинжалом в руке, император воскликнул громовым голосом:

– Негодяй! Разве я не сказал, что он поколотил меня и что всякий, кто дотронется до него, умрет?

Жестом, не лишенным достоинства, он положил руку на плечо Тита и сказал своим ошеломленным спутникам:

– Человек, который осмелился поколотить Цезаря, – друг Цезаря.

Сам Тит стоял в смущении, не зная, что ему делать и говорить.

Цезарь, продолжая опираться на плечо центуриона, выражая этим свою глубокую симпатию к нему, и в то же время поддерживая свою нетрезвую особу, окончательно раскис. Хмель его усиливался; он обнял храброго воина и проговорил сквозь слезы:

– Бравый молодец! Поколотил Цезаря!

Некоторые из его друзей сочли долгом уронить слезу сочувствия; другие благоразумно сдерживали смех.

Продолжая опираться на Тита, он направился в свои апартаменты, сопровождаемый оставшимися охотниками.

Пока толпа медленно двигалась по коридору, Нерон наставительным тоном рассуждал о жестокости. Подражая совершенству, хотя, вероятно, бессознательно, фанеры и стиля Сенеки, он распространялся о вреде Жестокости и выгодах милосердия. Он говорил, что безумный и кровожадный правитель, вроде Калигулы, велел бы убить Тита за его дерзость, но мудрый и снисходительный Цезарь, вроде Нерона, простил бы его. Он напомнил слушателям, что во времена Авгу-

ста Люций Циппа был уличен в заговоре против императора. Что же сделал мудрый правитель? Он послал за Циппой и в течение двух часов читал ему увещание – наказание, которое, впрочем, стоит распятия, прибавил Нерон, вздыхая. Зато с этого дня Циппа сделался верным другом Аваста.

Вот так же и Тит, помилованный Цезарем, несмотря на то, что осмелился поколотить императора, всегда останется его преданным другом и слугой.

К концу разговора язык Нерона начал все более и более заплетаться, а походка становилась все менее и менее твердой. Тит вздохнул свободно, когда они добрались до спальни Цезаря и властитель мира в изнеможении свалился на ложе.

Но у Нерона бывали проблески проницательности, которые не могли заглушить ни пьянство, ни безумие.

Когда толпа собиралась оставить комнату, император неожиданно приподнялся.

– Стой! – крикнул он и устремил пристальный взгляд на Тигеллина. Как ни пьян он был, но по лицу любимца угадал о его намерении отделаться от центуриона.

Действительно, Тигеллин, терзаясь завистью и злобой, решился заколоть Тита, как только Нерон уснет. Император, почувствовав его намерения, велел Титу оставаться всю ночь в прихожей, а Тигеллину – оставить дворец и не являться, пока не позовут.

Тит вторично был спасен, но его намерение повидаться с Юдифью не осуществилось.



На следующее утро Нерон проснулся с жестокой головной болью. День начался для него неудачей; любимый раб, всегда прислуживавший императору, пролил на него воду из рукомойника. Нерон схватил тяжелый кувшин и ударил раба по голове. И голова и кувшин сильно попортились. Поэтому он вышел на террасу, где уже дожидалась Поппея Сабина в сквернейшем настроении духа.

Этой женщине, так щедро одаренной всеми прелестями, недоставало такта. Она не умела, подобно Актее, разгонять хандру Нерона. Часто, когда он был в хорошем расположении духа, неосторожные замечания будили в нем дремавшие страсти; когда же он был расстроен, она нередко окончательно приводила его в бешенство. Актея думала только об удовольствии Цезаря, Поппея же только о своем.

Оскорбительные слова Сенеки не давали ей покоя. Она давно мечтала сделаться императрицей, но сейчас даже это желание было заглушено жаждой отомстить Сенеке. Изю дня в день она старалась внушить императору, уже и без того готовому верить всяким наветам на Сенеку, подозрение в честности старого министра.

Нападение Сенеки на Поппею было его величайшей ошибкой. Оно превратило почтительный страх Нерона к своему наставнику в страх, проистекавший из ненависти, и сам Сенека лучше всякого другого видел последствия своей ошибки. В это самое утро, когда Поппея старалась настроить Нерона против старого сановника, Сенека шел во дво-

рец, намереваясь просить отставки.

Когда он входил на террасу, Пoppея держала за руку Цезаря и говорила вполголоса:

– Конечно, мне бы хотелось стать женой моего Цезаря, но еще более мне хочется видеть его в безопасности, а главная опасность, по моему мнению, заключается в Сенеке.

В это мгновение Сенека очутился перед ними. Пoppея покраснела, так как не знала, слышал он ее или нет. Она тщетно старалась угадать это по его лицу, продолжая держать за руку императора.

Нерон довольно грубо освободил руку и встал.

Сенека со своим обычным достоинством поклонился императору.

Мне нужно поговорить с тобой о частных делах.

Он даже не взглянул на Пoppею, на лице которой ясно отражались смущение, ненависть и страх. Нерон понял, что речь идет о важном деле.

Нерон опустил глаза. В эту минуту ему хотелось своими руками убить Сенеку, и Сенека знал это. Но сила министра и на этот раз восторжествовала. Нерон спросил нерешительным и беспокойным тоном:

– О чем ты хочешь говорить со мной?

– О деле, которое касается только нас двоих, – твердо отвечал Сенека.

– Оставь нас, – сказал Нерон Пoppее, и она отошла на другой конец террасы со слезами бешенства и унижения.

– Я пришел просить о милости, – сказал Сенека после непродолжительной паузы. – Я провел много лет на службе моему Цезарю и моей стране, теперь я старик; моя сила превратилась в слабость, и я желал бы прожить в мире остаток моей жизни. Позволь мне, Цезарь, удалиться из Рима, на мою виллу и там, среди моих книг, провести немногие остающиеся для меня дни.

– Невозможно, дорогой мой Сенека, – воскликнул Нерон самым сердечным тоном, – я не могу допустить, чтобы ты жил в деревне одинокий и всеми покинутый.

– Я не буду одинок, – отвечал Сенека с видимой неохотой, – я намерен жениться.

– Ого! – воскликнул Нерон. – На ком?

– На бывшей весталке Паулине, – отвечал старик.

– Счастливая женщина, – насмешливо заметил Нерон, – у нее будет очень старый и очень богатый супруг.

– Я хотел также просить о другой милости, – поспешно прибавил Сенека. – Ты знаешь, что я никогда не стремился к богатствам, которыми твоя щедрость осыпала меня. Я не расточал их на самоугождение и не собирал из низкой скупости. Я только не хотел отказываться от твоих даров. Возьми их обратно и отпусти меня с миром.

– Ну, старый философ! Ты решительно сошел с ума, – воскликнул Нерон. – Восхвалять бедность – это я понимаю, но самому сделаться бедным!..

– Да, я восхвалял бедность, оставаясь богатым, – отвечал

Сенека, – но богатство никогда не имело значения в моей жизни. Я убедился, что добродетель и счастье не зависят ни от богатства, ни от власти. Оставь мне только приют и кусок хлеба – и отпусти меня.

Нерон, при всей слабости своего рассудка, был отличным актером. Он горячо обнял старика и воскликнул:

– И не думай! И не думай об этом, друг мой!

– Прошу тебя, позволь мне уйти, – настаивал Сенека.

– Полно, полно, – отвечал император, снова обнимая его – Ты сегодня расстроен и бредишь, Что будет без тебя со мной и с Римом? Нет, нет, Сенека, я не могу отпустить тебя.

Огорченный неудачей и томимый злыми предчувствиями, Сенека ушел, а Нерон, подойдя к Поппее, шепнул ей на ухо:

– Глупец! Он не отделяется от меня так легко.

## XIX

Благоразумие Сенеки на время устранило опасности, которыми грозила хитрость Нерона. Женившись на Паулине – причем даже римские остряки не решались издеваться над чистотой этого союза, – он резко изменил свой образ жизни. Прежде его окружали пышность и великолепие, и на это обстоятельство намекал Нерон, говоря о различии между восхвалением бедности и действительной бедностью. Впрочем, личная жизнь его всегда отличалась скромностью; но,

интересуясь человечеством и его делами, он не жалел денег, чтобы привлечь к себе замечательнейшие умы эпохи. Его атриум, куда стекались посетители со всех концов света, отличался великолепием, но спальня была проста и даже бедна. Пиршества его превосходили все, что могло придумать плодотворное воображение Петрония, но сам он почти ничего не ел, кроме овощей, и пил только воду. Он был министром и самым могущественным человеком в государстве и понимал, что его место и власть требуют величия. Он знал, что истинная философия повелевает человеку быть счастливым и в шелку и в лохмотьях. Величайший римский стоик случайно сделался императором и поэтому одевался в пурпур и носил лавровый венок, хотя как философ находил, что богатство, власть и все вообще внешнее не могут ни увеличить, ни уменьшить счастье человека. То же думал и Сенека: он ценил образование и утонченность, которые достигаются при помощи богатства, но относился к ним как к случайностям, которые могут являться и исчезать, не изменяя человека. В письмах к своему другу Люцилию он нередко сообщал, что устроил свою жизнь таким образом, чтобы быть счастливым при всяких условиях, как в богатстве, так и в бедности. Он не молился ни о бедности, ни с богатстве, а только о нравственном усовершенствовании, и считал кощунством обращаться к божеству с просьбами о жалких мелочах земного существования.

Теперь ему предстояло доказать искренность своих убеж-

дений. Он знал, что главная опасность для него и его жены – потому что, писал он, их жизнь слилась во, – едино – коренится в его богатстве и высоком положении. Два эти обстоятельства разжигали зависть его врагов и подозрительность императора. Он разочаровался в своих надеждах найти безопасность в уединении, так как не верил в ласковые слова императора, зная, что ненависть Поппеи и жестокость ее любовника осудили его на смерть.

В его положении истинный стоик продолжал бы идти своим путем, высокомерно отказываясь внести какие-нибудь изменения в свой образ жизни.

Но Сенека считал, что человек должен беречь свою жизнь не до тех пор, пока этого хочет, а до тех пор, пока ему велит долг.

Главным мотивом его деятельности был долг, а по гордость.

Он спокойно отказался от всякого внешнего великолепия и блеска, распустил свою многочисленную свиту и толпу служителей и, ссылаясь на припадок лихорадки, запер свой дворец и переселился с Паулиной на виллу в Номентануме, в нескольких милях от Рима. Тут он провел счастливейший период своей жизни, работая в винограднике, читая книги, переписываясь с друзьями и наслаждаясь обществом своей благородной жены.

Он не боялся за себя, но беспокоился за участь Паулины после его смерти. Впрочем, он тщательно скрывал свои опа-

сения и всегда являлся перед ней и знакомыми с веселым лицом. Перемена в его жизни возбуждала в Риме большое удивление, еще больше насмешек. Остряки прохаживались насчет старого философа, который женился на молодой женщине и убежал из Рима, опасаясь за свою жизнь.

Но это нисколько не смущало его. Как все сильные люди, он относился с глубочайшим презрением к зубоскальству и обвинениям в трусости. В течение своей карьеры он каждый день встречал больше опасности, чем эти насмешники за всю свою жизнь, и убедился, что смелость без благоразумия только особый вид трусости.

Паулина, расставшись с честолюбивыми грезами, тоже нашла полное удовлетворение в обществе мужа. Не было более приятного дома, чем вилла Сенеки в Номентануме.

Нерон на время оставил в покое Сенеку, занятый проектами брака с Поппеей. Это дело было связано с некоторыми затруднениями, так как в Риме даже при худших императорах тщательно соблюдались законные формы. Самые возмутительные вещи делались все же с соблюдением известной установленной законом процедуры.

Нерон мог жениться на Поппее, только разведясь с Октавией, а для развода требовался какой-нибудь благовидный предлог. Конечно, он мог без всяких церемоний убить свою несчастную жену, но не решался на это.

Она была одной из немногих безупречных женщин в его развратном дворе, а простонародье относилось с почтением

к нравственной чистоте. Оно еще не забыло судьбу ее брата, Британника, который должен был сделаться римским императором вместо сына Агриппины, если бы Клавдий в своем безумии не женился на чудовище.

Нерон всегда избегал открытых преступлений и теперь проводил неделю за неделей, стараясь придумать какую-нибудь хитрость, подкупая или запугивая сенаторов и хвастаясь перед Поппеей своей удивительной ловкостью.

Эта женщина явила миру замечательный пример веры в свою неотразимость. Прежде чем дело о разводе началось, она уже сделалась любовницей Цезаря.

Астролог Бабилл, советник Поппеи, советовал ей возбуждать страсть Нерона, но не уступать ей, так как Цезарь был столь же непостоянен, сколько жесток. Но для ее ненасытной гордости было лестно приобрести такую власть над Нероном, чтобы он сделал ее из любовницы женой.

Ее общение с астрологом привело к неожиданным последствиям. Через него она ознакомилась с иудейской верой, и так как в то время было в моде менять религию, то она объявила себя поклонницей иудаизма. В доказательство искренности своих убеждений она помогала еврейскому населению Рима.

Как-то Бабилл рассказал ей о существовании христианской церкви, и она открыла – с презрительным удивлением, – что евреи ненавидят новую секту фанатической ненавистью.

Во дворце все знали о симпатии Актеи к христианско-



му проповеднику. Поппея нередко с беспокойством думала о своей сопернице. Она была все еще прекрасна, а любовь Нерона отличалась своенравием.

Поппея чувствовала, что не может считать себя в безопасности, пока Сенека сохраняет власть, а Актея остается во дворце.

Бабилл в самых ярких красках старался настроить Поппею против новой секты. Она слушала его рассказы и обдумывала, как бы погубить новую церковь, а вместе с ней и Актею.

Ей недолго пришлось ожидать удобного случая. Однажды ночью в одном из кварталов Рима сгорел дом, причем погибло несколько человек. Этот случай возбудил волнение, предполагали умышленный поджог. Дело было представлено на усмотрение императора.

Нерон всегда сердился, когда к нему приставали с делами.

Сенека, будучи министром, избавлял его от всяких хлопот. Теперь некому было заменить его, так как даже Нерон понимал, что его главные советники, префект Тигеллин и секретарь Эпафродит, были способны только составить план вечерней оргии.

Таким образом, императору, который в трезвом состоянии был далеко не лишен деловых способностей, приходилось по целым часам толковать с чиновниками, вместо того чтобы проводить время с Поппеей.

Однажды, спустя несколько дней после пожара, Нерон

спешил на террасу, где Поппея дожидалась его гораздо дольше, чем привыкла терпеть.

Она намеревалась покапризничать, зная, что выражение ребяческого гнева идет к ее лицу.

Лицо Нерона было угрюмо.

– Не брани меня, царица любви! – сказал он. – Я устал и не в духе.

Поппея обладала замечательной способностью быстро изменять выражение лица и голоса. Для нее это было так же легко, как переменить позу. Она сказала самым нежным голосом:

– Что же так расстроило моего повелителя?

Он схватил руками колени и сердито раскачивался взад и вперед.

– Поппея, слыхала ты когда-нибудь об Улиссе? – спросил он, не отвечая на вопрос.

– Какой-то древний греческий мудрец, если не ошибаюсь, – отвечала она.

– Скорее греческий дурак, – возразил он. – Боги и люди причинили ему много несчастий; он должен был скитаться по свету, пока ветер не занес его на остров, где жила нимфа Калипсо. Она полюбила его и хотела сделать его бессмертным. Днем он мог нежиться на великолепном ложе, попивая нектар и глядя на танцы нимф, ночью отдыхать на груди своей прекрасной возлюбленной, и этому блаженству не было конца. Но он построил корабль и уплыл с западным ветром.

Если бы ты была Калипсо, Поппея, и я бы потерпел крушение у твоего острова, я бы никогда не вздумал строить корабль. Какое блаженство! Какое блаженство! – повторил он тоном влюбленного школьника.

По иронии судьбы Нерон по-настоящему полюбил Поппею. Из всех своих любовниц он воспылил искренней страстью к самой худшей.

– Да, – повторила она после непродолжительного молчания, – блаженство, но блаженство еще не все. Приятно жить на острове Калипсо, но управлять государством – великое дело.

– Вздор! – воскликнул Нерон, вскакивая и принимаясь нетерпеливо расхаживать по террасе. – Не говори мне таких пустяков, царица любви. Разумеется, прекрасно быть царем в сказке, жить в свое удовольствие, носить самые лучшие платья, делать, что хочешь. Но в действительной жизни царь – это раб; я бы лучше хотел быть цирюльником в Субуре.

– Полно, Цезарь! – сказала она. – Вспомни, что ты занимаешь место Юлия и Августа.

– Клянусь всеми богами, – воскликнул император, – я желал бы, чтобы Юлий и Август до сих пор сидели на своих местах. Очень весело толковать целое утро со старыми шутами, важными, как авгур во время пророчества и разбирать каракули на грязных табличках! Лекции старого Сенеки были веселы, забавны, остроумны в сравнении с этим. И ра-

ди чего все это? Из-за того, что какому-то молодому вздумалось подпалить дом и изжарить полдюжины ротозеев. Ах, Поппея, я смертельно устал.

Внезапная мысль мелькнула у Поппеи.

– Пожары в Риме! Мирные граждане гибнут в своих постелях, – воскликнула она. – Это нужно исследовать, Цезарь!

– Вот то же самое мне говорил и старый префект полиции, – с досадой возразил Нерон, – Неужели ты не можешь найти более интересный предмет для разговора, царица любви?

– Нет! – сказала она, вскакивая. – Какой же предмет может интересоваться меня более, чем безопасность моего повелителя, моего возлюбленного?

– Что ты хочешь сказать? – с удивлением спросил император.

– Я хочу сказать, что тебе угрожает опасность. В Риме гнездится шайка отчаянных негодяев, называющих себя христианами, которые отреклись от государства, объявили, что у них нет другого правителя, кроме их Бога, поклялись уничтожить закон и власть и сжечь Рим. Этот пожар – только начало их деятельности.

– А откуда ты знаешь все это, Поппея? – спросил он.

– Мне рассказывали...

– Кто?

Она видела, что лукавить было бы опасно, к неохотно ответила:

– Астролог Бабилл.

Она боялась, что ее доверенный разболтает императору о таких вещах, о которых ему вовсе не следует знать.

– Этот сумасшедший старик еврей! – засмеялся Нерон. – Будь покойна, я исследую дело. А теперь, царица любви, зачем нам тратить в слова время, назначенное для поцелуев?

Под вечер того же дня император послал за Бабиллом, чтобы расспросить его о христианах. При всем своем безумии Нерон довольно тонко понимал людей и мог вести допрос свидетеля.

Бабилл изливал свою злобу против ненавистной секты, а Нерон, находивший удовольствие в религиозных препирательствах (сам он считал сказками все религии), слушал и забавлялся его пылом.

Но красноречию еврея не предвиделось конца, и Нерону надоело его слушать. Он прервал поток его обвинений и отпустил астролога с подарком и насмешливым замечанием, что лучше бы их богам решать свои дела между собой, чем вносить раздор среди людей.

Нерон решил про себя, что христиане – одна из тех фанатических восточных сект, которые не представляют никакой опасности, если им предоставить спокойно исполнять свои обряды, а обвинения Бабилла приписал его религиозному рвению. Впрочем, для очистки – совести он решил послать Эпафродита в еврейский квартал расспросить о новой секте.

Вольноотпущенник вернулся с отчетом, который вполне

подтвердил мнение Нерона. По его словам, христианами называлась безобидная секта, считавшая; своим богом человека, распятого лет тридцать или сорок тому назад прокуратором Иудеи. Этот человек поссорился с еврейскими священниками из-за каких-то религиозных обрядов, и они обвинили его в измене перед прокуратором. Эпафродит навел справки в архивах и убедился, что прокуратор считал этого человека невинным, но, опасаясь восстания среди иудеев, отдал его в жертву священникам.

– До какого зверства доводит людей суеверие! – заметил Нерон, выслушав отчет секретаря.

Спустя несколько дней император отправился с Тигеллином в одну из своих ночных экспедиций на Мильвийский мост. Было еще светло, когда они находились в конце улицы за Капитолием.

Вдруг Нерон заметил старика и девушку, переходивших улицу по направлению к Квириналу. Император, обладавший замечательной памятью на лица, сказал префекту:

– Смотри, Тигеллин! Ведь это та девушка, из-за которой тебя сбросили с крыши.

Со стариком – это был еврей Иаков – шла его дочь Юдифь в своем строго еврейском наряде. Эта одежда не скрывала красоты ее лица и фигуры.

Тигеллин взглянул на нее с выражением, не предвещавшим ничего доброго. Он сделал движение, намереваясь идти за ними, но император удержал его, лукаво смеясь.

– Постой, постой! Ты слишком неосторожен, нет ли с ними центуриона?

Тигеллин, уже два раза испытывавший силу кулаков Тита, сердито нахмурился. Намек заставил его отказаться от своих намерений, и он последовал за Нероном по Фламиниевой дороге к Мильвийскому мосту.

Вылазка удалась как нельзя лучше; пять или шесть человек были сброшены с моста; кроме того, удалось остановить и опрокинуть носилки, в которых оказались очень важный сенатор и дама, более известная; своей красотой и умом, чем нравственностью.

Нерон был в восторге и на возвратном пути оглашав римские улицы песнями и криками.

Проходя по Субурскому предместью, Нерон споткнулся о камень и упал. Поднявшись, он разразился ругательствами:

– Проклятие этим хлевам! Если бы христиане подпалили их, какой вышел бы славный костер.

– И какой прекрасный дворец можно было бы построить на месте этих лачуг! – поддакнул Тигеллии.

– А ведь и в самом деле! – воскликнул Нерон; и остаток дня они провели, рассуждая о портиках, залах и садах, которые император мог бы построить, если бы тысячи домов между Палатином и Эсквилинским холмом были уничтожены.

## XX

Во дворце царствовала удивительная тишина; все подозревали, что что-то готовится, но никто не мог сказать, что же именно. Даже Поппея чувствовала себя растерянно при виде странного поведения своего возлюбленного. В течение целой недели Нерон никого не подверг бичеванию, никого не выбранил, ни разу не пришел в бешенство. По-видимому, он был погружен в какие-то соображения, и Поппея замечала, что он усмехался иногда, как будто его мысли принимали забавный оборот. Он был любезен, хотя и рассеян, и Поппея решила, что ей не угрожает никакая опасность. Но во всяком случае, он замышлял какой-то план, и ей было неприятно думать, что у него могут быть тайны от нее.

Однажды вечером он прогуливался с Поппеей по саду. Они остановились на восточном склоне Палатина. Недалеко от них находилась скамейка, защищенная от северного ветра живой изгородью. Нерон сел и предложил Поппее сесть рядом с ним. Последние лучи заката угасли, небо приняло ровный серый оттенок; внизу мелькали огни Субуры, а позади них возвышался, как огромная черная тень, Целинский холм. Сад оканчивался низенькой колоннадой, отделявшей владения дворца от улицы. На расстоянии какой-нибудь сотни ярдов от величественного портика императора начинались груды лачуг, населенных бедняками.



Нерон не был суровым римлянином, он обладал даром фантазии, развившейся из-за общения с гречанкой Актеей. В хорошем настроении духа он нередко присаживался к ней, и они придумывали сказки. Истории Актеи были переполнены великими подвигами богов и героев, тогда как император с увлечением описывал великолепные города, башни, дворцы, картины, статуи, торжественную музыку. Теперь он должен был рассказывать эти истории один.

В глубине души Пoppея презирала эти истории, но терпеливо выслушивала его рассказы, так как они всегда служили у него признаком хорошего настроения духа. Он всегда заканчивал восклицанием:

– Ну, разве я не артист?

Разумеется, Пoppея рассыпалась в восторженных уверениях.

Нерон целовал ее руки, лицо, обнимал, клал ее голову себе на плечо.

Вдруг он прошептал:

– Хотелось бы мне построить дворец, достойный тебя!

На это Пoppея отвечала легким смехом – самый загадочный ответ женщины своему любовнику.

Впрочем, Нерон и не пытался угадать его значение; продолжая обнимать ее, он принялся расписывать великолепие дворца, который выстроит для нее, и Пoppея невольно заслушалась.

Он мечтал о колоссальном здании, которое бы измерялось

милями, а не ярдами, о пурпурных ложах в высоких залах, отделанных мрамором, золотом, слоновой костью; воздвигал купола, усеянные драгоценными камнями наподобие небесного свода; строил бесконечные портики и колоннады. Он взглянул вниз по склону холма – и вот по его мановению раскинулся великолепный сад с рощами, в которых рычали дикие звери; с озерами и каналами, по которым медленно плыли барки, расписанные яркими красками, разукрашенные шелковыми парусами, благоухавшие лучшими ароматами востока, – барки, из которых беднейшая превосходила великолепием барку Клеопатры; берега озер и каналов были превращены в сплошной цветник и прекрасные нимфы резвились среди цветов; воздух был наполнен звуками музыки, и весь мир стекался гулять в этот сад, и самый сад был мир, в котором царили бог и богиня; бога звали Нероном, а богиню Поппеей.

Под влиянием его рассказа она старалась представить себе пейзаж, рисовавшийся в его воображении. Непонятное чувство страха охватило ее, когда она глядела вниз по склону и рисовала себе здания и террасы, озера и шумные потоки, цветочные клумбы и рощи, созданные его большим мозгом.

Его волнение росло с каждой минутой; голос превращался в торжественную песнь; картины становились все более и более необузданными. Наконец он вскочил и, заставив ее подняться, воскликнул:

– Смотри, царица любви, туда, туда – на восток!

Поппея вздрогнула, так как в эту минуту возник какой-то слабый блеск. Нерон, с разгоревшимся лицом, впился глазами в это розовое пятнышко; оно разрасталось, светлело, разгоралось. Вдруг на дальней стороне Субуры сверкнул огромный язык пламени, мириады золотых искр брызнули к небу, и черный дым за клубился над предместьем.

Лицо Нерона рдело, как расплавленная медь в красноватом блеске зарева.

– Пожар! – простонала Поппея. – Христиане! Христиане!

– Пожар! – повторил он с диким хохотом. – Христиане! Христиане!

Схватив испуганную женщину за руку, он бросился вниз к входной арке сада. Здесь находилась скульптурная группа, изображавшая жертвоприношение Ифигении, сделанная по указанию самого Нерона. В прежние дни Актею часто пугало выражение, с которым он смотрел на белую шею девушки, над которой был занесен безжалостный нож Агамемнона. Обыкновенно он успокаивал Актею, пропев ей с неподдельными слезами и волнением печальную историю жертвы Троянской войны. На платформу, где помещалась скульптурная группа, вела витая лестница. Нерон втащил на нее Поппею, которая почти лишилась чувств от страха. За ними следовала толпа рабов под предводительством префекта Тигеллина и секретаря Эпафродита. Когда Нерон, неся на руках Поппею, вошел на платформу, на самом краю ее поставили раззолоченное кресло и арфу. Он сел; один из рабов накинул

на его плечи зеленую мантию и надел ему на голову лавровый венок. Рядом с его креслом рабы устроили мягкое ложе и, когда Пoppея упала на него, накрыли ее тигровой шкурой.

Ночь была холодна, а Пoppея легко одета. Огромные клубы дыма проносились над ней. Она боялась огня и еще больше дрожала при мысли, что дым может испортить цвет ее лица. На ней было тонкое покрывало, закрывавшее лицо и грудь, но она сбросила его, опасаясь, что оно вспыхнет от искры.

С ужасом, наполовину естественным, наполовину притворным, она просила императора отпустить ее. Но он не слышал ее, поглощенный ужасным зрелищем.

– Позволь мне уйти! Позволь мне уйти, Цезарь! – настаивала она.

Наконец он услышал ее и с гневом отвечал:

– Молчи, Пoppея, ты останешься здесь.

Она боязливо откинулась на ложе и несколько минут молчала, но страх за свою красоту пересиливал в ней боязнь гнева Нерона. Наконец она решилась:

– Пошли по крайней мере за Родой, моей служанкой.

Нерон сердито обернулся к стоявшему позади него префекту.

– Пошли за рабыней этой женщины.

И, обратившись к Пoppее, прибавил:

– Сиди смирно и будь благоразумна.

Рода поспешила к своей госпоже и, увидев ее, разразилась

криками и плачем. Но бешеный взгляд Нерона тотчас успокоил ее, и став на колени – подле Полней, она начала шептаться с ней.

Затем она поспешно спустилась с лестницы и побежала во дворец, а Поппея спрятала голову в подушках и закуталась в тигровую шкуру.

Через несколько минут Рода вернулась, задыхаясь от бега, с какими-то ящичками, сосудами и банками, заключавшими тайны туалета Поппеи. Она встала на колени подле ложа, открыла лицо своей госпожи и принялась за работу. Закончив ее, она ушла. Поппея приподнялась на ложе и стала смотреть на пылавший город. Лицо ее было покрыто белым слоем притираний и пудры, волосы тщательно спрятаны в полотняный чехол, а тело до самого подбородка закрыто тигровой шкурой.

В мраморной группе, возвышавшейся над ними, скульптор изобразил Фурию со зловещим и прекрасным лицом, обращенным к несчастному «пастырю народов». Белое лицо Поппеи напоминало лицо этой мраморной Фурии.

Первый язык пламени показался на самом южном конце Субуры. Теперь яркий блеск зарева на северном конце возвестил, что и с этой стороны предместье подождено. Стоявшие на платформе – могли видеть, как пламя ринулось в узкую лощину между Квириналом и Вимипалом и, бушуя, подобно приливу, стало взбираться на холм. Наконец пурпурное пламя за гребнем Палатина возвестило, что и Велабрум

загорелся.

Центральная часть, сердце Рима, была предана разрушению. Огонь, как победоносная армия, штурмовал узкие переулки вокруг Форума. Балаганы и лавки мясников вспыхивали, как кучи хвороста; крыша большой базилики пылала над тройной колоннадой. Среди пламени, подобно утесу над бушующим морем, возвышался Капитолий и мрачный фасад Табулария купался в багровом свете.

Ни разу с тех пор, как белокурые воины Севера обрушились на Рим, священный холм не видал такой сцены. Но теперь свирепствовал враг опаснее галла; и высоты, когда-то спасенные римской доблестью, должны были сдаться; римские пенаты были преданы огню; пятисотлетние воспоминания вычеркнуты в одно мгновение ока.

Вверху, впереди и сбоку, свирепствовало пламя; его рев был подобен боевому клику легионов в решительную минуту битвы. Прощайте тысячи славных памятников! Тысячи великих имен! Эта волна, увенчанная клубами черного дыма, разлилась по всему пространству до Табулария – и память о вас исчезла навеки! Никогда римский воин не бросится в битву ради вас, никогда римский патриот не будет ради вас звать к общественному благу; никогда историк, роющийся в дебрях минувшего, не найдет в вас драгоценной награды за свои труды. Половина римской славы, половина памятников римского величия стерты с лица земли!

Когда первая волна пламени ринулась на священный

холм, пальцы Нерона начали перебирать струны арфы. Уже более часа сидел он в своем раззолоченном кресле, устремив восхищенный взгляд на пылающий город.

Пламя истребляло Рим – Рим Юлия и мстящего Брута, Цицерона и могущественного Катона; Рим Сципионов – детей славы – и семьи Гракхов, Рим Фабриция, довольного малым, и Цинцинната, пахавшего землю. Но сожаление ни разу не мелькнуло на лице императора; он походил на поэта, который ищет вдохновения в завывании ветра, в блеске молний, в бешеной пляске волн. Мысль об ужасах, совершающихся под этой багровой пеленой, была далека от него; сожаление к погибавшему городу ни разу не коснулось его сердца. Из всех находившихся на платформе он один смотрел на пожар и разрушение Рима с бесстрастным удовольствием, какое возбуждает эффектная картина.

Он молча ждал вдохновения, и наконец оно явилось. Перед его глазами повторялась древняя трагедия. Он видел перед собой не деревянные лачужки Субуры, а высокие башни сказочной Трои. Он слышал не вопли, проклятия и стоны, доносившиеся из пылающих домов и победные крики героев, спешащих во дворец Приама. Какой-то мальчик бросился из окна на улицу: он видел Астианокса, сброшенного с башни безжалостной рукой Одиссея, Толпа в ужасе металась по улицам – ему мерещились испуганные троянцы, гонимые мечами Неоптолема и Менелая, Как раз перед портиком какая-то женщина была сбита с ног толпой, – но он видел толь-

ко прекрасную Поликсену, убиваемую на могиле Ахилла.

По ту сторону дороги, недалеко от портика, находилась группа домов – местообитание публичных женщин. Пламя, охватывая Субуру, гнало перед собой толпу, как наступающие легионы нестройную орду варваров. Тысячи мужчин, женщин и детей стремились к Палатинскому холму. Наконец пламя ринулось на последнюю группу домов, и женщины – одни, совершенно обезумевшие, от ужаса и вина, другие, упорно тащившие на спинах домашних богов, – выбежали на улицу с криками, воплями, проклятиями и присоединились к толпе.

У входа в дворцовый сад расстилалась широкая площадь, на которой столпились тысячи бездомных римлян. Мужчины сгибались под тяжестью сундуков, кроватей, столов; женщины держали на руках младенцев; дети в ужасе цеплялись за родителей. В толпе сновали грабители, стараясь поживиться; местами пьяные менады плясали, распевая бесстыдные песни.

Когда пламя поднялось высоко над домами, площадь осветилась ярким светом, и народ с изумлением увидел императора в лавровом венке и с арфой в руках. Дикая толпа разом умолкла. Пальцы Нерона все быстрее и быстрее перебирали струны; и вот он запел полным, звучным голосом гимн в честь бога пламени:



Слава отцу света,  
Бог пламени!  
Слава владыке сил,  
Бог пламени!  
Высоки башни и замки,  
Бог пламени!  
Город превращается в костер,  
Бог пламени!  
Пусть тебе палящее дыхание,  
Бог пламени!  
Разносит гибель, смерть и опустошение,  
Бог пламени!

Порыв ветра погнал пламя к портику. Народ в ликом ужасе кинулся под защиту колоннады; Пoppея быстро сбежала с лестницы и укрылась во дворце; рабы спрятались за статуями. Но Нерон выпрямился на краю платформы и протянул руки вперед, восклицая:

– Бог пламени! Бог пламени!

Казалось, он окунал руки в огонь. Тигеллин и Эпафродит бросились к нему, схватили его на руки и унесли во дворец, тогда как он продолжал взывать к богу пламени.

## XXI

За час до пожара Тит совершал свой обычный вечерний

обход дворца. Прежде всего он зашел в комнату Актеи, служить которой по-прежнему считал своей особой обязанностью. Девушка все еще томилась во дворце, но дни ее славы прошли и о существовании ее почти забыли. Даже Сенека, привезший ее с далекого Самоса, отрекся от нее. Она охотно оставила бы дом Цезаря, но у нее не было ни богатства, ни друзей в Риме. Беззаботная, как дитя, она никогда не пользовалась случаем нажить денег. Кое-какие драгоценности и платья, подарки императора, составляли все ее достояние.

Нерон, попавшись в сети Поппеи, забыл о ней, да она и сама старалась избегать своего бывшего возлюбленного. Душа ее озарилась новым светом. Много, чего она не могла понять раньше, теперь, после долгих размышлений в одиночестве, сделалось ясным. Она вкусила тот мир, о котором говорил проповедник.

Когда Тит вошел в ее комнату, она стояла на коленях перед окном, сложив руки на груди и устремив взор в небо. Центурион был не особенно наблюдательный человек, но от него не ускользнула перемена в гречанке, внушавшая ему какой-то смутный страх. Лицо ее осунулось, розовые щеки поблекли, на лбу появились морщинки; золотистые волосы не казались такими пышными; стройная фигурка утратила былую живость; огромные черные глаза не блестели, как прежде.

Тем не менее Актея казалась Титу прекраснее, чем когда-либо, и он с презрительной досадой думал о Цезаре, ко-

торый мог променять такую женщину на Поппею. Видя ее на коленях, озаренную догорающим светом вечерней зари, солдат невольно подумал о жизни без плоти и крови, о мире, для которого не нужна пища и питье.

«Наверно, это дух», – подумал он: так мало земного было в ее фигурке.

Но Актея, увидев его, встала и ласково поблагодарила его за хлопоты. Тит возразил, что считает за честь для себя служить такой прекрасной и покинутой друзьями женщине.

– Я не покинута друзьями! – воскликнула Актея. – У меня есть Друг, который никогда не покинет меня.

Тит пожал плечами и подумал, что этому новому Другу придется плохо во дворце. Актея угадала его мысли и, взяв его за руку, подвела к окошку, выходявшему на запад.

– Как далеко простирается власть Нерона? – спросила она.

– Цезарь владычествует над миром, – гордо ответил центурион.

– Да, Цезарь владычествует над миром, но один удар меча – и собаки станут глотать кости Цезаря. Посмотри! – воскликнула она, указывая на солнце, еще не полностью скрывшееся за горизонтом. – Посмотри! Ваш Цезарь владычествует над миром, но мой Друг, мой Жених – Владыка неба и земли. Солнце в своем пути повинуется ему, и звезды слышат его голос. Смерть сильнее Цезаря, но Он поверг смерть под ноги Свои. Его присутствие – целебный бальзам для истерзанного сердца, мир для измученной души; Он помощ-

ник слабого и щит угнетенного и тех, кто любит Его. Он дарует вечную жизнь.

Тит все еще не понимал.

«Старик христианин свел ее с ума», – подумал он; вслух же заметил:

– Не желал бы я быть на месте твоего Друга, госпожа, если Цезарь застанет его с тобою.

– Он и теперь со мною, – сказала она. – Он всегда и везде, готовый помочь тем, кто любит Его. – Она снова указала ему на небо. – Близок день, когда ты увидишь небеса отверстыми, и Царя вселенной во всей славе Его; тогда мертвый и живой предстанут перед Его престолом, и самый гордый Цезарь преклонится перед ним наравне с беднейшим крестьянином.

Новая мысль мелькнула в ее уме, потому что глаза ее, угасшие от слез и горя, вспыхнули ярким блеском.

– И я – сказала она, – я тоже предстану на Его суд. Неужели Господь примет в свое лоно такую недостойную тварь, как я?

Она бросилась на колени и благоговейно сложила руки. Но улыбка озарила ее лицо.

– Прости мне! – шептала она. – Прости, дорогой Друг, что я усомнилась в Тебе, и ниспошли мне твой мир.

Пока она молилась, Тит выскользнул из комнаты, полный смущения и негодования. Он был уверен, что Актея помешалась, и проклинал Поппею, считая ее виновницей этого.

Новая, фаворитка императора не нравилась ему. Ее чув-

ственная красота и низменные стремления внушали отвращение молодому центуриону. Физическая красота привлекала римлян, и Тит удивлялся, почему прекраснейшая женщина Италии кажется ему отвратительной.

Оставив комнату Актеи, Тит задумался. Что-то в словах гречанки напоминало ему страстную речь Юдифи, когда она говорила о вере. Это было то и не то...

Размышляя об этом, он шел по коридорам дворца. Все было спокойно; Нерон обедал с Поппеей; слуги разошлись спать. Он вышел в обширный атриум, где его шаги глухо раздавались по мраморному полу, и направился в помещение слуг. В кухне повара еще возились над какими-то изысканными блюдами для Нерона. Свет от очага широкой полосой падал из двери; воин на минуту остановился в тени. Молодой повар, грек, напевал какую-то песенку, прославлявшую, как понял Тит по некоторым знакомым словам, пиры из козлятины, пшеничного хлеба и сладкого вина. Окончив стряпню, он поставил блюдо на стол и, обратившись к своему товарищу, воскликнул:

– Как могли эти обжоры завоевать мир?

– Ты всегда предлагаешь затруднительные вопросы, Долин, – ответил тот. – Я не знаю, что тебе ответить, но знаю, что если это блюдо будет плохо приготовлено, то кому-то достанется.

Грек вздохнул и снова принялся за работу, а Тит направился по длинному коридору, где слышно было только хра-

тение усталых рабов, спавших в каморках по обе стороны коридора. В самом конце его какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ и державший в руке зажженный факел, вышел из двери недалеко от солдата и поспешно пошел по коридору.

Он не заметил Тита, который последовал за ним. Неизвестный вышел в дворцовый сад, и Тит хотел выйти за ним, когда услышал в нескольких шагах от себя сдержанный гул голосов. Он обнажил короткий меч, который носил скорее как знак своего достоинства. В Риме и во всей Италии рука закона была тяжела, и безоружный человек мог пройти от Рубикона до Региума, не опасаясь насилия. Римляне считали варварскими государствами, где гражданам приходилось носить оружие для самозащиты. Но во дворце Нерона случались всякие неожиданности, и Тит был очень доволен, что может ходить при оружии.

Выглянув из двери, он увидел группу людей, человек пятнадцать или двадцать, в плащах с капюшонами и с факелами в руках. Осторожность не принадлежала к числу добродетелей Тита. Он смело выступил вперед и крикнул:

– Что это значит? Что вы тут делаете?

Не получив ответа, он схватил ближайшего из них и сдернул капюшон с головы. Это был раб Тигеллина, отъявленный негодяй, достойный своего господина, который всегда пользовался его услугами, если нужно было устроить какую-нибудь пакость.

– Мы исполняем повеление Цезаря, – сказал он сердито.

– Какое? – спросил Тит.

– Об этом ты можешь спросить моего господина, – ответил раб.

– Я опрошу у вас обоих! – с гневом крикнул Тит. – Веди меня в комнату префекта.

Раб замялся. Тит нетерпеливо встряхнул его за плечо с такой силой, что тот тотчас оставил мысль о сопротивлении и пошел вперед, проворчав сквозь зубы:

– Ладно, тебе же хуже.

Он оказался прав, потому что Тигеллин, радуясь случаю унижить центуриона, выбрал его в присутствии злобно ухмылявшегося раба.

– Как он смел, – говорил префект, – соваться не в свое дело. Его обязанность смотреть за гречанкой, а не лезть в дворцовые дела. Рабы, которых он остановил, исполняют поручение Цезаря. Не удовлетворится ли он этим объяснением?

Тит выслушал насмешки любимца с холодным достоинством. Безумный Цезарь сделал эту тварь префектом, и Тит уважал его сан; но оскорбляться его словам казалось ему так же смешно, как оскорбляться лаю собачки Поппеи.

Он спокойно ответил, что счел нужным остановить этих рабов, потому что ему поручен надзор за дворцом, но если они исполняют поручение Цезаря, то, разумеется, ему нечего возразить.

Затем он оставил комнату, а раб поспешил к своим това-

рищам.

Час спустя Тит, вышел в сад подышать перед сном чистым воздухом. Он стоял на склоне холма, когда ветер подул сильнее, и, взглянув на город, Тит заметил первый язык огня под Субурой. Пожары были обычным явлением в этом предместье, и Тит равнодушно следил за разгоравшимся пламенем.

– Много будет работы префекту полиции, – подумал он и продолжал свою прогулку.

Минут через десять он вернулся на прежнее место. В это время пламя вспыхнуло разом в трех местах квартала.

«Это, однако, серьезно, – подумал солдат, – если они не поторопятся, вся Субура сгорит».

Оглядевшись, он увидел багровое зарево над Велабруммом.

– Боги! – воскликнул он. – Рим горит!

Он остановился в нерешимости, не зная, что предпринять, и вдруг вспомнил о рабах, несших факелы.

– Рим! Рим! – воскликнул солдат. – Он поджег Рим.

В эту минуту пламя показалось на нижнем конце улицы, а затем поползло к Форуму. Тит бросился вниз по холму и выбежал из сада на дорогу за храмом Весты. Тысячи обезумевших от страха людей устремились на холм, и в первую минуту толпа увлекла его за собой. Он отчаянно боролся и наконец проложил себе путь к Форуму. Здесь огонь произвел гораздо меньше опустошения. Большие каменные строения уцелели, и только лавки и балаганы были охвачены пламе-



нем. Они пылали когда Тит, обогнув храм Весты, выбежал на Форум.

Немногие, сохранившие хладнокровие среди общей паники, смотрели на пожар со ступеней базилики Юлия. Некоторые из них, судя по отчаянному выражению лиц, были владельцы горевших построек.

Достигнув середины Форума, Тит невольно остановился. Пламя показалось над крышей Табулария, и гневное восклицание вырвалось из уст воина. Он был римлянин, и перед его глазами гибли славнейшие памятники римского величия. Даже мысль о Юдифи не могла заглушить его скорби, когда он увидел Капитолий, объятый пламенем.

Но он остановился только на мгновение и тотчас бросился дальше. Обогнув Мамертинскую тюрьму, он направился в горевшую часть города. Улицы были очень узки, и Тит рисковал жизнью, пробираясь среди пылавших домов. Раз или два он невольно отступал перед невыносимой жарой; порывы ветра несли на него пламя или клубы удушливого смрадного дыма. Какая-то женщина, спасаясь от пожара, бросила тяжелый плащ; Тит поднял его и окутал им голову.

Опасность угрожала не только от огня, но и от разрушавшихся зданий, летевших на улицу балок, досок, труб. Часто он натыкался на мертвых или умирающих; иногда отчаянные крики о помощи достигали его ушей. Какой-то несчастный – может быть, ребенок или женщина, забытая в верхнем этаже – бился в окно с ужасными криками в то время, как

пламя весело трещало, охватывая здания. Но помочь было невозможно, и Тит только плотнее обматывал плащ вокруг головы, чтобы не видеть и не слышать этих ужасов. Стиснув зубы, он устремился вперед.

Ему угрожали и другие опасности. Не он один решил проникнуть в пылавший квартал. Воры и грабители, которых держала в узде строгая римская администрация, на этот раз устроили себе праздник в Субуре.

Ночная стража исчезла; префект полиции хотел было послать свою команду тушить пожар, но оказалось, что она отслана Тигеллином к вилле на Аппиевой дороге с каким-то вздорным поручением.

Таким образом, некому было тушить огонь или преследовать негодяев, сбежавшихся на пожар для убийства и грабежа. Они врывались в пылавшие дома и тащили все, что попадалось под руку, бросались на бежавших женщин и грабили их жалкие пожитки. Они проникали с отчаянным мужеством в самые опасные места Субуры. Многие из них заплатили жизнью за свою безумную жадность.

Оставив за собой уже половину улицы, Тит наткнулся на небольшую шайку грабителей. Закутанный в плащ, он заметил опасность только тогда, когда перед его глазами блеснул нож, поднятый для удара. Он успел отклонить его и, получив легкую рану в плечо, схватил своего противника, поднял его на воздух и бросил в открытую дверь горевшей лавки. Разбойник с ужасным криком исчез в огне. Его товарищи

окаменели от ужаса, а Тит поспешил дальше. Треск и крики, раздавшиеся позади, заставили его повернуть голову. Высокая стена соседнего дома обрушилась на улицу, и там, где он только что стоял, высилась груда пылавших обломков, под которой были погребены напавшие на него грабители. Это происшествие скорее ободрило, чем смутило его.

«Если люди, — подумал он, — рискуют жизнью ради грабежа, то неужели я не рискну ею ради моей возлюбленной?»

Наконец, счастливо избежав сотни опасностей, он оставил за собой горевшую часть города, за несколько домов до жилища Иакова.

— Юпитер, благодарю тебя, — прошептал он, — она в безопасности.

Пять минут спустя он стоял перед домом Иакова. Двери, сорванные с петель, валялись на улице; старый привратник лежал мертвый у порога. Толпа испуганных рабов в атриуме сообщила солдату, что в то время, как улица была запружена беглецами, шайка грабителей ворвалась в дом, ограбила его и увела Иакова и его дочь.

## XXII

Юдифь вела уединенную жизнь, почти не знаясь с римской аристократией. Дела Иакова по-прежнему процветали. Поппея относилась к нему почти так же благосклонно, как некогда Агриппина; ему удалось также приобрести располо-

жение Нерона. Император, желая подарить своему новому божеству драгоценное ожерелье, нашел в Иакове деятельного помощника по части отыскивания и выбора камней. Благодарность Нерона за мелкие услуги была так же неумеренна, как жестокость в наказаниях за мелкие проступки. Он ласкал еврея, иногда беседовал с ним о его стране, религии и Боге; и однажды с важностью объявил Тигеллину о своем намерении распространить иудейскую религию по всему миру и назначить Иакова верховным жрецом. Префект пришел в восторг от этой блистательной идеи, но Нерон тут же отказался от нее. Чтобы отклонить его от какой-нибудь безумной выходки, следовало только расхвалить ее.

Сенека, при всей своей мудрости и знаниях, не догадывался об этом, но Тигеллин тотчас раскусил, в чем дело.

Богатство Иакова доставило ему довольно унижительное место – между низшим слоем общества и аристократией. Молодые франты, смеявшиеся над ним в лицо, принимали его приглашения ради дорогих вин и изысканных блюд. Но Юдифь все более и более отстранялась от них, доходя до фанатизма в соблюдении правил своей веры. Ненависть к язычеству росла в ней вместе с любовью к Богу, и на лице ее появилось выражение высокомерной и твердой решимости.

Однажды Иаков заметил ей, что брак с каким-нибудь из молодых людей, посещавших его дом, укрепил бы их положение. Но он и не заикался об этом вторично, потому что презрение, с которым она отнеслась к его предложению, про-

брало даже его твердую кожу.

– Ты мой отец, – сказала она, – и да простит тебя Бог, но ты слишком испытываешь Его милосердие.

Затем она ушла в свою комнату и там горько плакала от стыда и от гнева. Величайшим огорчением для нее было то, что она не могла уничтожить в себе женщину. Несмотря на всю свою решимость, она нередко вспоминала о Тите, и тогда кровь прилиwała к ее щекам и сердце начинало усиленно биться. Сознание, что она ревнует, унижало ее в собственных глазах. И, однако, она не могла ни совладать со своим чувством, ни отрицать его. Нередко она представляла себе Тита подле носилок Актеи, и руки ее сжимались, губы дрожали, глаза наполнялись слезами. При менее благородной натуре она сделалась бы угрюмой и брюзгливой, потому что разочарование и огорчение встречали ее всюду. Жадность и низость отца, измена – по-видимому добровольная – возлюбленного, а главное, собственная слабость унижали ее гордость и отравляли ей жизнь. Юдифь всегда была нежна и добра, но, видно, дочери Иакова суждено быть прежде всего еврейкой, а потом уже женщиной.

Время, так быстро проходившее во дворце, наложило на нее свою печать, и в тот вечер, когда произошел пожар в Риме, Юдифь, сидевшая в садике на крыше дома, казалась гораздо серьезнее и старше, чем несколько месяцев тому назад.

Пламя уже поднималось в разных концах Субуры, когда Юдифь, очнувшись от своей задумчивости, увидела багро-

вое зарево. Пожары в этом предместье случались так часто, что почти не привлекали внимания обитателей, которые жили в каменных домах, притом нередко стоявших особняком и окруженных садами, как и дом Иакова.

При виде пожара она почувствовала только некоторое сожаление.

– Бедняги! – прошептала она. – Да сжалится над вами Бог.

С каждой минутой пламя разгоралось сильнее, и Юдифь поняла, что большая часть Рима охвачена пожаром. Вскоре пламя показалось на нижнем конце их улицы и медленно поползло вверх. Юдифь бросилась к отцу. Комната Иакова выходила окнами на север, в противоположную сторону от огня, и он мирно спал в своей постели, когда Юдифь разбудила его.

– Отец, отец! Вставай! Страшный пожар в Субуре.

Иаков услышал ее сквозь сон и, повернувшись на кровати, пробормотал:

– Я не ночной сторож. – И немного погодя прибавил еще более сонным голосом: – Да у меня и нет домов в Субуре.

– Вставай, – повторила она, – пламя близко, наша улица горит.

Иаков с криком вскочил и увидел слабый красноватый отблеск, проникавший в окно его комнаты. Он поспешил вместе с дочерью в атриум. Тут было светло, как днем; едкий запах горящего дерева стоял в воздухе. Отец и дочь поспешно поднялись в садик, откуда могли видеть пламя, медленно

двигавшееся по направлению к ним.

– Боже Авраама! – воскликнул еврей. – Рим гибнет!

Юдифь стояла выпрямившись, положив руки на перила крыши, и смотрела на пылающий город.

– Ветер пронесется над ним, и он исчезнет, и не сохранится памяти о нем, – прошептала она.

Иаков, не слушая ее, стонал, ломая руки:

– Гибнут богатство и сила Рима!

Лицо Юдифи приняло странное выражение; глаза горели диким огнем.

– Он ломает лук и рассыпает стрелы; Он истребляет колесницы огнем, – отвечала она.

Пламя медленно ползло к верхнему концу улицы, и Иаков, обезумевший от страха, мог только бор, мотать:

– Какой злой дух совершил это дело? Кто разрушил Рим?

Юдифь услышала его и ответила громким и звучным голосом:

– Дщерь Вавилона, осужденная на гибель, благо тому, кто воздаст тебе, по делам твоим.

На улице происходила страшная суматоха.

Иаков взглянул на толпу и радостно воскликнул:

– Ночная стража! Ночная стража! Наверно, она потушит огонь.

Юдифь же шептала:

– Боже! Развей их как пыль по ветру. Как пламя пожирает дерево, так преследует их Твой гнев.

Стража ретиво принялась за работу. Одни рубили деревянные дома, чтобы преградить доступ пожару, другие заливали горевшие постройки, третьи водворяли порядок в толпе.

Сначала исход борьбы казался сомнительным. Пламя то отступало немного, то возвращалось и заставляло отступать дисциплинированных римлян. Так продолжалось около часа. Ни один из противников не мог похвастаться победой.

Наконец, как бы в ответ на молитву Юдифи, северный ветер ослаб и подул южный. Битва кончилась, огонь победил. Пламя прорвалось за просеку, которой думали остановить его, и охватило новые дома.

Последовала дикая паника, и толпа, увлекая с собой стражу, бросилась вверх – по улице.

Иаков сбежал с крыши, кликнул слуг и с их помощью стал собирать ценное имущество. Вытащив из сундука мешок с драгоценными камнями, он спрятал его под туникой.

Тем временем Юдифь оставалась на крыше. Девушка была убеждена, что наступил день, когда пророчества должны сбыться и Рим будет стерт с лица земли.

Но она забывала, что, если Рим и сгорит, рука Цезаря сохранит свою силу, прокуратор не уйдет с войсками из Иудеи и пята римского воина будет попирает престол Давида. Пламя, бушевавшее над Субурой, казалось ей огненным столпом, который напоминал ее отцам, скитавшимся в пустыне, о присутствии и обещании Бога. Она была твердо убеждена,



что так именно должно начаться мщение Всемогущего над язычниками, угнетавшими Его избранный народ.

На улице происходила отчаянная давка. Панический страх охватил толпу; никому не приходило в голову, что огонь должен остановиться перед обширными садами. Всякий думал только о своей шкуре и не заботился о соседе.

Среди общей суматохи выделялась толпа в пятнадцать или двадцать человек, державшихся постоянно вместе. Они были с ног до головы закутаны в плащи, а один, с открытой головой и в рыжем парике, казался предводителем. Он присоединился к остальным как раз перед отступлением ночной стражи.

Эта группа двигалась вместе с толпой бежавших, пока не достигла дома Иакова. Здесь предводитель пронзительно свистнул. В эту минуту Иаков, стоявший в атриуме, у подножия лестницы, крикнул дочери, чтобы она шла к нему. Вокруг него толпились рабы, а старый привратник собирался отворить дверь.

Но прежде чем старик успел отодвинуть засов, снаружи раздались страшные удары; двери, частью разбитые, частью сорванные с петель, разлетелись, и толпа ворвалась в дом. Старый привратник ударил ближайшего своей палкой, но руки его были слишком слабы; Один удар тяжелого железного лома – и он растянулся мертвым на полу. Остальные рабы побросали свою ношу и рассыпались кто куда. Иаков с минуту стоял в нерешительности, потом бросился на лестницу,

но в ту же минуту его схватили и связали.

Юдифь, стоя на крыше, ничего не слыхала из-за криков толпы. Только когда отец ее был схвачен, слабый крик о помощи достиг ее ушей. Она поспешила к лестнице как раз в ту минуту, когда двое или трое людей вбежали в садик. Лицо первого было ей знакомо. Быстрее мысли она выхватила из-за пояса небольшой нож и, прошептав: «Отец, прощай», — хотела поразить себя в грудь. Но было уже поздно: сильная рука схватила ее руку; и пальцы ее выпустили нож. Вслед затем на нее набросили широкое покрывало, схватили ее на руки и понесли с лестницы. Тем временем грабители рассыпались по дому, ища поживы. Впрочем, Иаков сам облегчил им труд, стащив в одну кучу все свои богатства. Разбойники уничтожали все, чего не могли захватить. Несколько минут спустя шайка уже направлялась к Квириналу. Пройдя сады Саллюстия, они углубились в пустынные сады на Пинцийском холме. В этом безлюдном квартале они могли пройти незамеченными. Опустившись с Пинцийского холма, они перешли Фламиниеву дорогу и достигли Тибра немного выше мавзолея Августа. Отсюда направились вниз по реке, к Марсову полю и, наконец, остановились перед калиткой в стене амфитеатра Статилия Тавра, огромного каменного здания, как раз за чертой огня, который в эту минуту свирепствовал в деревянном амфитеатре на Марсовом поле.

Предводитель шайки вторично свистнул, и калитка отворилась. Толпа вошла в здание; в маленькой темной камерке

сложили свою живую ношу. Тут с еврея и его дочери сняли плащи, развязали их и оставили вместе. Еврей тотчас начал стонать, молиться и плакаться, но Юдифь молчала. Прошло около получаса, наконец дверь отворилась, и вошел человек с факелом в руке.

– Эй, христиане! – крикнул он.

Лицо его было знакомо обоим пленникам, паков встал на ноги и ответил дрожащим голосом:

– Благороднейший Тигеллин, мы не христиане: это я, еврей Иаков, тот самый, что продал тебе камень, который и теперь красуется на твоём плаще; я и мое единственное дитя были похищены шайкой грабителей.

– Молчи! – крикнул Тигеллин, не сводивший глаз с Юдифи. – Ты христианин; разве ты не знаешь, где ты теперь находишься?

– Как могу я знать это, господин, – пробормотал еврей, – когда мои глаза были завязаны.

– Христиане подожгли Рим, – сказал Тигеллин, – я велел арестовать их всех; за этой дверью амфитеатр, где вас ожидают львы.

Крик ужаса вырвался из уст старого еврея; он бросился к ногам префекта, но Юдифь презрительно улыбнулась.

– Великий Тигеллин! Славный римлянин! – вопил Иаков. – Ты шутишь; да это одна из шуток нашего молодого императора! Ха, ха, ха! – и он истерически засмеялся, продолжая обнимать колени префекта.

– Слушай! – произнес Тигеллин.

Иаков умолк, и глухой, отдаленный рев диких зверей достиг его слуха.

– Похоже, это не шутки? – спросил префект со злобным смехом. Иаков упал на солому почти без чувств от ужаса.

– Спаси нас, спаси нас! – умолял он.

– Я для того и пришел, чтобы спасти вас! – ответил Тигеллин.

Еврей вскочил с криком:

– Да благословит тебя небо, благородный римлянин!

– Но это нелегко сделать, – продолжал префект, – и я требую награды.

– Я не богат, – отвечал еврей, – но все, что я имею, я готов отдать тебе, если ты спасешь нам жизнь – мне и моей дочери.

– Деньгами можно сделать много, но не все, – возразил Тигеллин.

– Чего же ты требуешь? – спросил еврей.

– Столько же поцелуев этих прекрасных губок, сколько Лесбия подарила Катулле! – воскликнул римлянин, приближаясь к еврейке.

– Неверная собака, прочь от меня! – презрительно сказала Юдифь.

Тигеллин замялся, а Иаков с удивлением воскликнул:

– Моя дочь! Жениться на моей дочери?

– Жениться на твоей дочери, старик, – грубо возразил Тигеллин – нет, клянусь всеми богами; мы берем женщин вар-

варов в любовницы, но не в жены.

Он сделал еще шаг к Юдифи; она попятилась и, наткнувшись на камень, выбитый из пола, чуть не упала, но устояла и, подняв камень обеими руками, крикнула префекту:

– Еще шаг, и я разможу тебе голову!

Он был маленького роста, ниже Юдифи, притом пороки ослабили его да и по натуре он был труслив. После непродолжительного колебания он отступил и крикнул Иакову:

– Старый дуралей! Прикажи своей безумной дочери выкупить свою и твою жизнь.

Иаков закопошился в соломе и наконец ответил:

– Я не знаю, чего ты хочешь от меня, господин, если... если... – голос его прерывался, – если эти драгоценности, все что у меня осталось теперь, могут спасти нашу жизнь, то возьми их и отпусти нас.

Он вытащил из-под туники мешочек и протянул его префекту.

Тигеллин схватил мешок и заглянул в него: он был полон жемчугов и драгоценными камнями. Глаза любимца сверкали, пока он перебирал драгоценности.

– Это уже нечто, – сказал ой, – но этого мало. Пусть твоя дочь принесет мне эти камни на своей прекрасной груди.

Иаков вздрогнул; язык отказывался служить ему.

– Отвечай, он ждет, – холодно сказала Юдифь.

– Послушай, как режут львы, – усмехнулся Тигеллин, и снова отдаленное рычание наполнило коридоры.

– Отвечай ему! – повторила Юдифь.

Иаков вскочил на ноги и выпрямился перед гнусным префектом.

– Я еврей, – воскликнул он, – а наш отец Авраам продавал свою жену; но скорее я отдам мое тело зверям и дух мой на вечные мучения, чем пошлю мою дочь к тебе.

Юдифь радостно вскрикнула и обвила шею отца.

– Теперь ты мой отец! Да, ты мой отец! – воскликнула она, нежно прижимая его голову к своей груди.

Тигеллин побагровел от бешенства.

– Это вам не поможет! – заревел он. – Я брошу эту старую свинью львам, а ты... ты будешь жить и будешь моей.

Юдифь отвечала ему с тем же холодным презрением, что и раньше:

– В этой тюрьме нет закона, но неужели ты думаешь, что его нет и в Риме. Дай мне только выйти из этих стен, и сам Нерон не откажет мне в правосудии.

Он знал, что еврейка говорит правду. Римляне были суровый и справедливый народ. Знатные на Палатине и Делийском холме могли предаваться разврату и бесчинству, но народ, управлявший миром, не мог обходиться без строгих законов. Система, созданная в течение веков гражданской мудростью римлян, не могла уничтожиться от того, что безумец свирепствовал во дворце Цезарей или развращенная знать наполняла страницы Истории своими грязными делами.

В минуту общей паники Тигеллин похитил еврея и его

дочь; но Иаков был римский гражданин и, освободившись из темницы, в которую его спрятали, мог потребовать и получил бы удовлетворение.

Задыхаясь от бешенства и чувствуя, что его планы потерпели поражение, Тигеллин крикнул им:

– Коли так – умрите! – И вышел из темницы, захлопнув за собой дверь.

Юдифь усадила отца на солому и положила его голову к себе на колени.

– G, дитя мое! Дитя мое! – стонал он. – Господи! Умереть, умереть от когтей диких зверей.

– Полно! – пробормотала Юдифь. – Умереть – значит воскреснуть в Господе; он благословит тебя и дарует тебе вечную жизнь, потому что в эту ночь ты почтил имя Его.

Она наклонилась к нему, поцеловала его и нежно гладила его волосы, пока старик не заснул на ее коленях.

## XXIII

Весь Рим был убежден или притворялся убежденным, что великий пожар – дело изменников-христиан. Свидетели показали, что перед самым пожаром в разных кварталах были замечены люди, закутанные с ног до головы, с факелами в руках. Император послал за городским префектом и: заявил ему, что по всем признакам эти люди принадлежали к секте так называемых христиан и что не мешало бы арестовать их.

Префект, строгий администратор, почтительно заметил, что следовало бы иметь более точные доказательства. Нерон, проклиная про себя дотошного служаку, отпустил его. Через несколько дней явились доносчики, сообщившие, что христиане на своих тайных собраниях обсуждали план уничтожения не только Рима, но и всего государства. По словам доносчиков, они решились низвергнуть римскую власть и провозгласить своего царя правителем мира. Их мотивы, по словам тех же доносчиков, были исключительно корыстного свойства, потому что самые ничтожные из них надеялись получить в награду за свои услуги места губернаторов или начальников над легионами.

Нерон постарался дать возможно большую огласку их показаниям, и префект, побуждаемый взрывом народного негодования, отдал приказ арестовать всех исповедующих христианскую веру.

Бешенство народа не знало границ. Тысячи остались без крова, гордость Рима была унижена, три четверти города превратились в груды развалин. И все это было делом евреев и восточных иноземцев, нашедших в Риме приют и пищу. Народ требовал мщения. Последовавшая затем вакханалия казней была не менее ужасна, чем сам пожар. Христиане целыми семьями осуждались на смерть по доносам своих же отступников; из Африки и Аравии должны были высылать львов для истребления осужденных.

Поппея с большим удовольствием следила за этими собы-



тиями, решившись со своей стороны воспользоваться случаем и погубить нескольких неудобных лиц. Бабилл внушал ей наибольшее опасение: он знал слишком много. Она упрекала императора за то, что он арестовывает ничтожных преступников и оставляет на свободе их вождя, Бабилла.

Нерон возразил, что астролог – еврей и ненавидит христиан сильнее, чем свинину.

Поппея, переменив тактику, возразила, что если он не христианин, то, во всяком случае, пророк; стало быть, знал о том, что должно случиться, и заслуживает казни за то, что не предупредил правительство.

Император уступил этой логике, и Бабилл был арестован. Через несколько дней он был приговорен к смерти главным образом на основании показаний Роды, служанки Поппеи.

Ободренная этим успехом, Поппея заметила императору, что в стенах дворца тоже есть христианка, напомнив при этом о связи Актеи с проповедником. Она намекнула даже, что Сенека, по всей вероятности, тоже примкнул к ненавистной секте.

Нерон отлично понял ее.

– Маленькая Актея! Какой вздор! – воскликнул он и прибавил сердито: – Актея менее причастна к этому пожару, чем ты.

– Но Сенека, наверно, христианин, – настаивала она с обиженным видом.

– В тебе слишком много ненависти, царица любви, – отве-

чал он холодным тоном. – Собаки на улице будут смеяться, если услышат, что мы называем Сенеку христианином.

Она отвернулась, чтобы скрыть свою досаду. Она обвиняла христиан в намерении сжечь Рим с целью погубить Актею. Но, по странному капризу судьбы, Рим был сожжен, а император становился между нею и ее жертвой. Это было досадно; она сильнее, чем когда-либо, возненавидела своего любовника.

Пока преследовали христиан, Иаков и его дочь оставались в темнице. Разозленный Тигеллин решил погубить их обоих. Он не осмелился притянуть их к допросу, потому что Нерон и Поппея разыскивали их.

Когда Тит вернулся после бесплодных поисков, император заметался по комнате в припадке бешенства. Было бы безумием приближаться к нему в это время; но на следующий день, когда он успокоился, Тит рассказал ему обо всем и просил позаботиться о поисках пропавших.

Нерон, неизменный в своей привязанности к молодому центуриону, обещал сделать все возможное. Он послал за Тигеллином и, объявив ему, что шайка грабителей во время пожара похитила еврея Иакова из дома, велел префекту принять меры к разысканию еврея.

Тигеллин несколько смутился, и Нерон, проницательность которого равнялась его безумию, спросил резким тоном:

– Да уж не знаешь ли ты чего-нибудь о старом еврее и его

дочери?

Любимец поклялся всеми клятвами, что ничего не знает, и, не убедив Нерона, поспешил скорее обратиться. Впрочем, мысли императора недолго останавливались, на таких пустяках.

Проходили дни за днями, а о пропавших не было ни слуха. Тит, терзаясь опасениями и нетерпением, пересилил, свое отвращение и обратился за помощью к Поппее. Она нередко заглядывалась на красивого воина, и, когда он с видимой неохотой упомянул имя Юдифи, глаза ее ласково блеснули.

Она отнеслась к нему с большим участием и, расспрашивая о семье еврея, очень искусно выпытала его сердечные тайны. Поппея улыбалась ему очень нежно и даже взяла его за руку; но сердце центуриона было занято мыслью о Юдифи. Отпуская его., она скорчила обиженную гримаску и обещала сделать все, что от нее зависит.

На другой день Тигеллин явился к ней на террасу: он был ее вернейшим орудием, и каждый день являлся к ней за поручениями. Ее взгляд упал на драгоценную застежку, усыпанную рубинами и поддерживавшую плащ на плечах. Поговорив с ним некоторое время, она неожиданно воскликнула:

– Какие чудесные камни? Где ты их достал?

Он замялся и нерешительно ответил:

– Да, красивая вещица.

– Но где ты ее достал? – повторила она.

– Купил вчера, – отвечал он.

– Странно, – заметила она, – месяц тому назад еврей Иаков предлагал мне купить ее, но я не ношу рубинов, сапфиры больше идут красивым женщинам.

Он смутился, а она продолжала:

– Еврей исчез после пожара; очевидно, грабители убили его или держат в плену ради выкупа.

– Я не знаю, – пробормотал он.

– Ну, разумеется! Откуда же ты можешь знать? – сказала она насмешливо. – Со своей стороны вовсе не жалею о нем: он был порядочный скряга, и, если он и его дочь совсем исчезнут с лица земли, Рим ничего не потеряет.

Тигеллин перевел дух и ответил:

– Может, он бежал от пожара и вернулся на родину. Вряд ли он сыщется.

– Вряд ли! – сказала Поппея и, завернувшись в покрывало, пошла во дворец.

Месяц спустя Рим нетерпеливо ждал развлечений; император объявил о трехдневном празднестве в амфитеатре Статилия Тавра. Никогда римские гуляки не были в таком возбуждении, потому что зрелища обещали быть исключительными, великолепными.

День выдался теплый и солнечный, и с раннего утра толпы людей в праздничных одеждах стекались к Марсову полю. Около пятидесяти тысяч мужчин, женщин и детей весело спешили к амфитеатру. Тут были важные сенаторы в тогах с пурпурной каймой, патриции, украшенные золотым

обручем, граждане в белых одеждах, увенчанные гирляндами цветов; Тут же толпилась и пестрая чернь в самых разнообразных костюмах, болтавшая на всевозможных языках: широкоплечие германцы из Эльбских лесов, юркие галлы с шумных пристаней Марсея, испанцы из Кордовы, с гордостью произносившие имя своего юного соотечественника Марциала и шепотом сообщавшие друг другу, что и великий опальный министр испанец родом. Тут были парфяне, бившиеся за своего царя Вологеза: жители Армении, подданные могущественного Тиридата; оборванные евреи из еврейского квартала; смуглые египтяне из Александрии, вспоминавшие о старых временах, когда римские полководцы слагали свои мечи к ногам Клеопатры. Были тут и высокомерные британцы, напавшие по повелению своей королевы на легионы Светония и нашедшие поражение и изгнание, и толстогубые негры с далеких нильских берегов, потешавшие толпу своими криками и жестами.

Все стремились в амфитеатр. Это была огромная постройка овальной формы, казавшаяся сверху какой-то чудовищной чашей Титана. Мраморные сиденья рядами спускались книзу; нижний ряд был защищен от нападения животных медной решеткой.

Народ хлынул через все двери амфитеатра с хохотом и шутками: то тут, то там возникали ссоры из-за мест. Места были распределены сообразно рангу зрителей. Самое выгодное занимал подиум, или императорская ложа, выдававшая-

ся фута на два в арену. В ней под балдахинном стоял дубовый трон, покрытый тигровой шкурой, а рядом с ним – мягкое ложе. Пониже балдахина помещалась, группа весталок в белых одеждах, за ними стояли ликторы. Направо и налево от подиума находились места для сенаторов; за ними несколько рядов скамей для воинов. Дальше и выше толпилось простонародье.

Толпа поспешно рассаживалась по местам, и веселый гул десятков тысяч голосов наполнил амфитеатр. Огромный малиновый, расшитый золотом навес, растянутый над зданием, колыхался под дуновением утреннего ветерка, и яркие лучи солнца, проникавшие сквозь него, окрашивали все предметы пурпурным цветом.

Небольшая группа молодых людей, явившихся в амфитеатр в числе первых зрителей с каким-то весьма почтенным с виду стариком, заняла хорошие места, тотчас за скамьями воинов, позади императорской ложи. Старик, пыхтя и отдуваясь, уселся на скамью.

– Тут тебе будет удобно, отец Модест, – сказал один из молодых людей. – Отсюда мы увидим все не хуже Цезаря.

– Да, да! – проворчал старик. – Я увижу все, что будут показывать.

– Говорят, – воскликнул другой, – что четыре нильских крокодила будут драться с шестью львами из Ливийской пустыни.

– Отец Модест, – сказал третий, – я побился с Лупер-

ком об заклад на десять сестерций против трех, что Спицилл убьет сегодня троих; как ты думаешь, выиграю я?

Еще кто-то воскликнул:

– Спицилл! Стоит ли говорить о Спицилле! Я рассчитываю увидеть, как Квинт Фабий или Максим Курвий будут сражаться со львами. Отрадно видеть, как наши аристократы, подобно рабам, осужденным на смерть, бьются с дикими зверями.

Насмешливый хохот раздался в толпе молодых людей, но старик вздохнул и покачал головой.

– По этому канату, отец Модест, пройдет слон с человеком на спине? – спросил юный мальчик, указывая на толстый канат, протянутый над ареной.

– Да, да, по этому, милый мой, – отвечал старик.

Какой-то человек, до сих пор хранивший молчание, вмешался в разговор:

– Меня нисколько не интересуют эти забавы, я пришел посмотреть, как звери будут терзать проклятых христиан. Они сожгли мою лавчонку и пустили меня по миру, будь они прокляты!

Гул единодушного одобрения раздался в толпе:

– Да, будь они прокляты! Они разорили всех нас!

– Я не возьму ничего в рот, пока звери не растерзают пятьсот христиан! – прибавил тот же человек.

– Ах, молодые люди! Молодые люди! – сказал старик, задумавшийся о чем-то. – Шестьдесят лет тому назад я сидел

на этом самом месте с моим отцом; а божественный Август находился вон там с императрицей Ливией и молодыми Ти-верием и Германиком. То был великий день: тысяча гладиаторов билась на арене от восхода до заката солнца – никому не давали пощады. Наконец остался один, да и тот умер от ран, пока народ рукоплескал ему. Но Август был человеколюбив и с этого дня запретил биться без пощады. Да! В старое время было не то, что нынче... – И ой пустился в свои старческие воспоминания, которые молодые люди слушали с почтительным терпением.

Рассказы его были прерваны громкими криками; все зрители поднялись с мест, восклицая:

– Цезарь! Цезарь! Август! Богоподобный! Великий артист!

Нерон в пурпурной тоге величественно вошел в свою ложу. Рядом с ним шла Пoppея в легком шелковом платье, сиявшая драгоценными камнями. За ними следовал Тит. Император сел, Пoppея опустилась на ложе, а Тит остановился позади трона.

Толпа постепенно затихла; наступила тишина; тогда император поднял руку и дал знак начать зрелище.

Кто смог бы описывать эти кровавые и жестокие сцены? Пусть они остаются во мраке прошлого, на разрозненных страницах древних писателей.

Утро миновало; солнце палило сквозь покров над цирком, я песок на арене окрасился кровью животных и людей,



Крокодил схватил тигра своими чудовищными челюстями и умертвил его; народ застонал от удовольствия. Гладиатор схватился с противником, превосходившим его силой и ловкостью, и презрительно играл с ним, как кошка с мышкой, и, наконец, нанес ему смертельный удар при криках и хохоте зрителей. Юноша-христианин, окруженный голодными зверями, стал на колени, вручил дух свой Христу и умер среди шуток и насмешек толпы.

Нерону скоро надоело это зрелище; он больше любил осуждать на казнь, чем следить за ее исполнением. Пошлая с наслаждением следила за перипетиями этой бойни, а Тит стоял равнодушный и рассеянный за императорским креслом.

Уже много христиан или предполагаемых христиан было истреблено, и народ начинал требовать перемены в программе, когда дверь одной из темниц отворилась, и высокая девушка замечательной красоты выступила на арену, поддерживая слабого старика. В ту же минуту три льва и тигр выскочили на арену с противоположной стороны и в первую минуту бросились друг на друга, оглашая амфитеатр ревом и рычанием. Девушка, поддерживавшая старика, бесстрашно ожидала нападения; и толпа, пораженная ее твердостью, приветствовала ее легким гулом одобрения.

Этот гул вывел Тита из задумчивости и заставил взглянуть на арену. Он едва удержался от ужасного крика. Подле него стоял солдат преторианской гвардии; Тит вырвал у него меч

и щит, перескочил через Поппею и спрыгнул на арену под ними.

Нерон с удивлением встал с кресла; Поппея, опершись локтями на балюстраду, с беспокойством следила за центурионом. Звери перестали ссориться и бросались к своей добыче; отчаянная борьба началась между ними и Титом. Однако он опередил их, и, схватив девушку, с силой гиганта перекинул ее через плечо и прикрыл своим длинным щитом.

Она жалобно воскликнула:

– Мой отец, о, мой отец!

Тит приостановился, но уже было поздно. Слабый старик покатился на арену, голодные львы накинулись на него, тогда как тигр устремился к центуриону.

Тит медленно отступал, лицом к чудовищу.

Тигр сделал скачок, воин увернулся так легко, как будто нес ребенка, – и нанес тяжелый удар зверю, ранив его в лапу. Тигр заревел от бешенства и боли, снова ринулся на солдата, и тут, в течение немногих мгновений, показавшихся часами, перед изумленными зрителями разыгралась картина борьбы, какой никогда не видел старейший из них. Тит бился с разъяренным зверем так же хладнокровно, как будто дрался в учебном бою с приятелем; его длинный щит и сверкающее лезвие меча всегда были перед глазами тигра. Один раз тяжелая лапа опустилась на щит, и пятидесятитысячная толпа содрогнулась от ужаса; но за щитом находилась сильнейшая рука в Риме, тигр отступил с тяжелой раной на боку, но снова

приготовился к прыжку, и когда Юдифь приподняла голову, то лапа тигра коснулась ее головы. Она не была ранена, но голова ее упала на плечо центуриона. В эту минуту он пронзил мечом шею тигра. Зверь заревел, упал на землю и издох.

Тит взглянул на Юдифь, и сердце его замерло; он отбросил щит и меч, опустил Юдифь на песок и бросился на колени возле нее. Она была мертва.

Один из львов, оставив тело Иакова, направился к воину. Но в амфитеатре поднялся шум, народ требовал, чтобы жизнь героя была спасена.

Нерон дал знак; толпа служителей, вооруженных бичами и копьями, бросилась на арену, загнала львов в клетки и вынесла тело Юдифи.

Тит вернулся к императору; толпа приветствовала его оглушительными аплодисментами, а Поппея ласково поглядывала на него из-под полуопущенных ресниц.

## XXIV

Тит сделался героем дня в Риме. Простонародье в цирюльнях, банях, на улицах прославляло его силу. Молодые аристократы насмешливо называли его современным геркулесом и осыпали насмешливыми комплиментами.

Но в домах нескольких старых сенаторов он получил другое прозвище. Эти неисправимые мечтатели радовались, что в Риме еще остался человек, воин, способный сражаться.

Они восхваляли его доблесть и называли его современным Брутом. Римлянки обсуждали его наружность, фигуру, силу, мужество, но осуждали его вкус, Большинство из них сожалели, что такой прекрасный молодой человек мог рисковать жизнью ради какой-то еврейки, а те, чья репутация была слишком известна, осуждали безнравственность молодых людей, связывающихся с иностранками.

Тит вернулся к своей дворцовой службе. Первая скорбь скоро прошла, и он принялся за обычные занятия. Он тщетно старался открыть виновников заговора, погубившего Иакова и его дочь. Сначала он заподозрил Нерона, но император так искренне сожалел о смерти его возлюбленной, что Тит не мог не поверить в его чистосердие.

Нерон догадался, чьих рук это дело; и при первом удобном случае послал за Тигеллином и обвинил его в убийстве Иакова и Юдифи. Испуганный любимец сознался во всем, и в первую минуту Нерон хотел отдать его на съедение львам по закону возмездия. Но добрые намерения императора всегда были слабы и мимолетны. Он подумал, что Тигеллин очень полезный негодяй, и изменил свое решение, объявив, что сообщит обо всем Титу.

– И разумеется, – подытожил он, – через пять минут после этого солдат перережет тебе глотку.

Это предположение показалось Тигеллину весьма правдоподобным; он умолял Цезаря о пощаде, и тот, чувствуя, что благоразумие требует временного удаления префекта,

сослал его на несколько месяцев в Байи.

Тит и не думал подозревать Тигеллина, а Поппея окончательно сбила его с толку.

Через день или два после сцены в амфитеатре она позвала его к себе.

– Сядь подле меня, – сказала она, – и поговори со мной.

Тит уселся, но молчал, частью от замешательства, частью от презрения.

– Так-то ты занимаешь женщину? – воскликнула она и прибавила с лукавой усмешкой: – Ты тоскуешь о черноокой девушке.

– Я тоскую о своих друзьях, – отвечал он просто.

Поппея широко, открыла глаза, заблеставшие детским лукавством, и воскликнула:

– Я отдала ее на съедение львам!

– Ты? – отвечал Тит, вскакивая. – Зачем?

– Затем, что мне так хотелось, – отвечала она нежным голосом. И, глядя на него из-под своих длинных ресниц, прибавила: – Ты очень храбр и хорош собой.

Тит повернулся и ушел, а Поппея откинулась на ложе, заливаясь смехом.

– Очень хорошее начало, – подумала она, приветствуя жестом Нерона, появившегося на террасе.

Здравый смысл центуриона указал, как ему быть с этим случаем. Если бы даже память о Юдифи угасла в его сердце, он все-таки поступил бы благоразумно. Поппея всегда воз-

буждала в нем отвращение. Притом же он знал, что она не посовестится оклеветать его перед Нероном, лишь только он ей надоест.

Он серьезно подумывал оставить дворец и вернуться в преторианский лагерь, но гордость заставила его отказаться от этого намерения, тем более что в случае его бегства Пoppея могла погубить его из оскорбленного тщеславия.

В конце концов Тит избрал самый лучший, как ему казалось, путь. Он продолжал исполнять свои обязанности, по возможности избегая Пoppеи и относясь к ней с равнодушием. Но он не мог бы придумать ничего лучшего, если бы хотел уколоть тщеславие женщины, привыкшей побеждать с одного взгляда. Она не отставала от него, к великой досаде молодого человека, который каждую минуту ожидал, что Нерон узнает о ее намерениях.

Он находил некоторое утешение в обществе Актеи. Она слышала о смерти Юдифи. Иногда она прогуливалась в уединенных аллеях дворцового сада, где не рисковала встретить Нерона и Пoppею. Тит часто сопровождал её, и ее сострадание облегчало его скорбь.

– Нельзя так сокрушаться, – говорила она. – Странно, что в то время как смерть каждый день уносит новые жертвы, ты не хочешь верить в Спасителя. Как можно выносить скорбь, не имея надежды?

– Нет, нет, – воскликнул он, – моя скорбь никогда не заставит меня поверить в ложь.

И с тех пор Тит старался избегать разговоров на эту тему. Но все-таки его тянуло к Актее, потому что ее теперешняя грустная кротость была так же приятна для него, как шумное веселье прежних дней.

Он поражался происшедшей в ней переменной. Вся ее красота исчезла: лицо осунулось и поблекло, глаза потеряли свой прежний блеск. В золотистых кудрях мелькнули серебристые нити; стройная фигурка утратила прежнюю грацию. И все-таки она производила чарующее впечатление на Тита. Может быть, это зависело от того, что ее голос звучал нежнее и мягче, чем прежде. Как это ни странно, она напоминала Титу его возлюбленную, хотя Юдифь была горда и сильна, а Актея смиренна и слаба. Но в обеих было что-то не от мира сего, вечное стремление к неземным вещам, отличавшее их от всех, кого знал молодой воин. Век состарился, религии пришли в упадок, философские системы возникали и рушились, угрюмое неверие распространилось в мире; умы, постоянно обращенные к земным вещам, огрубели и впадали в спячку, и мудрейшие люди того времени чувствовали необходимость новых принципов и стимулов жизни.

Тит смутно понимал, что Актея обрела надежду. Загробная жизнь была в ее глазах гораздо реальнее здешней, а муки и испытания земного существования исчезали при созерцании вечности. Мысли и дела измерялись не условными правилами традиций, а любовью к Богу и желанием служить Ему. Раздумывая об этом, Тит убеждался, что вера Актеи

должна быть великим утешением в жизни; но его размышления всегда кончались презрительным пожиманием плеч:

– Как могут люди верить сказкам?

Однажды он сообщил Актее новости о проповеднике. Этот человек был римский гражданин, и Нерон не мог распять его или бросить львам. Проповедник воспользовался правом апелляции и предстал перед судом императора для защиты от обвинения в мятеже. Его красноречие восхитило судей, которые, с обычной у римлян терпимостью ко всяким сектам и вероучениям, объявили, что обвинение не доказано.

Вторично он предстал перед тем же судом в дни крайне дикого и общего негодования против христиан. Нерон сам вел допрос, и проповедник мужественно обличал пороки императора. Это решило его судьбу; Нерон высказался за обвинение, а большинство судей согласилось с ним, радуясь, что могут угодить и императору и народу. Проповедник был осужден на смерть от меча, а казнь назначена на следующее утро.

Когда Актея узнала об этом, слеза скатилась по ее щеке, но она только сказала:

– Господь призвал к себе своего слугу.

Ей хотелось повидаться в последний раз со своим другом и учителем, и Тит из сострадания согласился помочь ей.

Рано утром они вышли из дворца и направились по Аппиевой дороге к Большому цирку. Тут свернули направо, ми-



новали Авентинский холм и вышли через Остийские ворота к гробнице некоего Кая Цестия.

Облокотившись на низкую ограду гробницы, Актея смотрела на город. Тит молча стоял возле нее. Вскоре бряцающие оружия и мерный звук шагов возвестили о приближении стражи. Богатое вооружение, высокий рост и быстрая, решительная походка воинов показали Титу, что приближающийся отряд принадлежит к преторианской гвардии. В середине отряда седой старик со связанными руками старался поспевать за воинами. Впереди шел молодой офицер с нахмуренным лицом, по-видимому, очень недовольный доставшимся на его долю поручением. Тит узнал в нем одного из своих друзей. Когда отряд подошел к могиле Цестия, Актея бросилась к нему, прежде чем Тит успел остановить ее, и хотела подойти к старику, но воины грубо оттолкнули ее. Тит поздоровался с офицером, который назвал его по имени, и воскликнул:

– Это просто позор для преторианцев! Нас заставляют исполнять обязанности палачей.

Тит шепнул ему на ухо несколько слов, и офицер велел отряду остановиться. Актея приблизилась к ним, и по знаку начальника ряды воинов раздвинулись. Когда она проходила между ними, офицер с любопытством взглянул на нее, но она была окутана черным покрывалом, которое, впрочем, не вполне закрывало ее золотистые волосы с проглядывавшими уже сединами. Офицер, выдавший ее во всем блеске красоты

в носилках императора, пробормотал:

– Боги! Как переменялась! – И стал расспрашивать Тита об опальной фаворитке.

Актея остановилась перед пленником и сказала:

– Отец мой, благослови.

– Бог благословит, – отвечал он. – Кто останавливает меня на пути к Господу?

– Я, Актея, – сказала она, откидывая покрывало.

Ей не нужно было рассказывать о своих страданиях, они были написаны на ее поблекших щеках, в ее угасших глазах.

Лицо проповедника дышало состраданием, когда она взглянула на него.

Актея заметила это, и нервы ее не выдержали; сердце ее разрывалось при мысли, что она послужила причиной смерти проповедника.

– Я погубила тебя! – воскликнула она. – Прости! Прости!

Улыбка, почти веселая мелькнула на губах проповедника.

– Дочь моя! Дочь моя! – отвечал он. – Сокрушайся о несчастных, а не о счастливых. Я окончил мой труд и иду на отдых. А теперь, – прибавил он, выпрямляясь величественно, как имеющий власть запрещать и разрешать, – да простит Бог твои грехи, да даст Он тебе терпение и силу ожидать Его прихода.

Он поднял над нею свои связанные руки; отряд двинулся дальше, и, когда Актея оглянулась, он уже миновал ворота и направился по Остиевой дороге к источнику Сильвия, где

великий ученый должен был принять смерть.

Горесть Актеи тронула Тита, который стал утешать ее с грубым, но искренним участием.

– Всякий должен умереть, – говорил он, – он был старик, а для старика смерть часто бывает желанным другом. Безумно сокрушаться о том, что не в нашей власти.

Тит вспоминал правила стоической философии, которые когда-то слышал от своего старого учителя. Но тут же вспомнился ему амфитеатр, Юдифь, бледное, спокойное лицо, лежавшее на его плече, и он умолк.

«Ах! – подумал он, – легко старикам сочинять мудрые правила; но в конце концов слова не могут облегчить тоску молодого сердца; может быть, оно становится жестче с возрастом».

Новые заботы смущали Актею. Она все еще жила во дворце, и хотя уже потеряла власть над изменчивым сердцем Нерона, но все же ее стол ломился под тонкими блюдами, гардероб полон драгоценных платьев, и рабы до сих пор, хотя, может быть, и неохотно, исполняли ее приказания. Она помнила выражение проповедника: «Утехи разврата», – и ее обстановка внушала ей ужас. Дорогие яства казались ей отвратительнее объедков, которыми питается население Субуры; шелковые платья – позорнее лохмотьев; мягкое ложе – жестче каменных скамей в Мамертинской тюрьме; «Утехи разврата» огненными буквами отпечатались в ее сознании, и ночью она просыпалась с этими словами. Наконец ей ста-

ло невмочь переносить эту унижительную обстановку, и она решила оставить дворец. У нее не было друзей и приюта, но она верила в помощь Творца, о котором говорил проповедник.

Рано утром после бессонной ночи она вышла в сад и, встретившись с Титом, сообщила ему о своем намерении. Тит долго спорил с ней, доказывая, что это значит осудить себя на нищету. Но она твердо решила исполнить свое намерение и просила Тита сообщить об этом Нерону.

Сначала Тит постарался разыскать убежище для Актеи. В числе его знакомых были две очень достойные женщины, христианки, жившие в небольшом домике по Фламиниевой дороге, за городской стеной. Решив, что Актея может поселиться у них, он сообщил Нерону о ее намерении.

Император терпеливо выслушал его.

– Бедная крошка Актея, – сказал он, – пожалуй, лучше, если уйдет. Я хочу попрощаться с ней.

Он вошел в комнату Актеи, сопровождаемый Титом.

Уже несколько месяцев он не видел девушку. Перемена, происшедшая в ней, поразила его.

– Неужели это Актея? – воскликнул он при виде ее бледного лица и седых волос.

Она стояла перед ним одетая в простое черное платье.

– Да, – ответила она, – я Актея.

Даже в Нероне была искра доброго чувства, только подавленная пороком и безумием. Угрызения совести проснулись

в нем; он взял ее за руку и сказал:

– Здравствуй, Актея! Мне очень жаль тебя.

Губы ее задрожали:

– Здравствуй, я буду молить Бога, чтобы он простил нас обоих.

Час спустя он забыл о своем минутном раскаянии и, болтая с Поппеей, заметил:

– Актея решилась уйти.

– Гречанка, жившая во дворце? – воскликнула она. – Пошли за ней; я хочу с ней попрощаться.

Лицо Нерона вспыхнуло гневом.

– Нет, – отвечал он резко, – я не хочу, чтобы ты над ней издевалась.

Поппея стиснула свои белые руки, и в глазах ее сверкнул огонек. Однако она промолчала.

## XXV

После пожара Нерон выказал большое участие к жителям Рима. Он открыл свои сады, приютил в беседках и портиках бездомных, щедро оказывал помощь голодающим.

Но особенную популярность приобрел он упорным и беспощадным гонением на христиан. Когда в них оказался недостаток, он напустился на евреев: сжег, распял и бросил зверям многих учителей иудейской веры.

Римляне, разумеется, не делали строгого различия между

восточными сектами, и хотя император имел больше сведений на этот счет, но ему выгодно было притворяться несведущим.

Успех его заговора превзошел все его ожидания. Просто-народье поверило в виновность христиан, и он, затыкая рты черни хлебом, увеселяя их глаза зрелищем бойни, а уши сто-нами жертв, преспокойно завладел землей, на которой думал выстроить дворец.

Золотой дом, о котором мечтал Нерон и который действи-тельно получил это название, должен был занять целый квар-тал. Часто гуляя с Поппеей по саду, они смотрели на вы-жженное предместье и мечтали о Риме, который бы состоял целиком из дома и владений императора, и где Нерон и По-ппея царствовали бы, окруженные рабами.

Народ с тупым удивлением смотрел на деревья, посажен-ные на месте сгоревших домов, беседки и храмы, возник-шие на месте таверн и лавок, каскады, струившиеся там, где прежде пролегали шумные улицы. Народ получил кров и пи-щу, зверские аппетиты его были удовлетворены, и он при-ветствовал радостными кликами Цезаря, когда тот проходил по выжженным предместьям, осматривая работы.

Но среди патрициев ропот усиливался, и старый рассказ о Бруте повторялся чаще, чем когда-либо.

Самым рьяным патриотом в Риме был Кай Пизон. Он про-исходил из семьи Кальпурния и очень гордился этим, что не мешало ему прославлять Афинское государство, где ум зна-

чит все, а происхождение – ничего. Высокого роста, рыжий, с фамильярными манерами и громким голосом, тщеславный, он был пугалом и любимцем сената. Одно время старая партия стойков-патриотов смотрела на него подозрительно: его мнения о функциях государства и методах управления не могли быть по вкусу ни Тразее с его друзьями, ни императору. Он ухаживал за чернью, говорил простолюдинам, что Римская империя не Сенека, не Лукан, не Персий, не солдат Светоний, не богатый стоик Тразеа, не блистательная, неустрашимая, коварная Агриппина, не император Нерон, а они сами, мудрый, великий народ. Однажды он навлек на себя целую бурю насмешек и брани, объявив, что сословие сенаторов понажилося, ограбив мир, и что народ очень глупо делает, позволяя себя стричь кучке себялюбивых аристократов. Нерон, ненавидевший знатных и искавший поддержки у черни, втайне радовался скандалу, который произвело это заявление, но Сенека горячо спорил с молодым человеком.

В действительности Пизон руководился в своей общественной деятельности одним искренним чувством – завистью к Сенеке. Способности, красноречие, изворотливость старого философа раздражали его. Он жаждал богатства и власти и не мог добиться их. Сенека не заботился об этих вещах и пользовался ими в полной мере. Выставляя напоказ свое богатство, Сенека восхвалял бедность; руководствуясь в государственных делах утилитарными соображениями, проповедовал правила чистой морали. Римляне относились

с почтением к хитрому министру и смеялись над бесстрашными выходками и протестами Пизона; это бесило его.

Подобно большинству честолюбцев того времени, он добивался отличий, притворяясь другом министра, хотя постоянно замышлял измену. Наконец представился случай нанести удар Сенеке. Возникло хлопотливое дело с населением испанской провинции Бетики. Представлено было много жалоб на хищничество проконсулов, и в Риме ходили слухи о печальном состоянии провинции. В один из дней явилась депутация с жалобой на губернатора и с просьбой назначить проконсулом некоего Кая Семпрония Паралла, испанца, весьма достойного человека, хорошо знакомого с нуждами населения.

Сенека горячо поддерживал жалобу испанцев на несправедливого губернатора, но убеждал сенат отказать в просьбе о Паралле и в возникших по поводу этого дебатах высказались против участия провинциального населения в избрании проконсулов. Он заметил также, что еще неизвестно, все ли население Бетики желает Паралла.

Один из друзей Пизона был отправлен для исследования дела. Еще более печальные слухи стали доходить до Рима, и в свое время явилась новая депутация. С новыми жалобами и новой петицией в пользу Паралла.

Тем временем Сенека подробно рассмотрел дело и убедился, что в Бетике нечего ждать порядка, пока не будет назначен Паралл. Тогда он быстро принял решение и просил



Нерона намекнуть сенаторам, что назначение Паралла было бы ему очень приятно. Намек императора произвел свое обычное действие, и Паралл получил должность проконсула.

Удивление и негодование «патриотической» секции. – не знало границ, и Сенека на бурном заседании принужден был доказывать, что его решение имеет в виду интересы республики.

Это было на руку Пизону. Он встал и в гневной речи обрушился на своего старого друга, цитируя его прежние мнения, осуждая его непостоянство и намекая на корыстные мотивы его деятельности. В заключение он объявил, что сенат, согласившись под влиянием Сенеки удовлетворить бесстыдные требования кучки провинциалов, нанес удар государству и навсегда запятнал его славу.

Сенека отнесся к этим нападкам с хладнокровием истинного философа, но не мог не сознавать, что они еще более ослабили его пошатнувшееся влияние на императора; и когда падение его свершилось и Пизон публично хвастался, что это он ниспроверг министра, Сенека чувствовал, что в его словах есть доля правды.

Пизон ничего не выиграл от своей измены; до тех пор ему верили лишь немногие – теперь никто не стал верить. Он льстил императору, который бранил его; пытался сблизиться со стойками, но те отталкивали его; произносил речи перед сенаторами, но они смеялись над ним; ухаживал за Поппеей, которая пересказывала его комплименты Нерону; заво-

дил интриги с Тигеллином, который выманивал у него деньги, – и ко времени великого пожара не было в Риме человека с такой дурной репутацией, как Пизон, и он сам отлично знал об этом.

Не таково было положение Сенеки. Опальный министр был счастливее чем когда-либо. Избавленный от государственных забот, он возился со своими книгами или копался в саду, любуясь гроздьями винограда. Паулина окружала его заботами, и временами, глядя на ее благородное лицо, он казался самому себе помолодевшим.

– Ах, – сказал он однажды, – мне почти семьдесят лет, а жил; я не более года.

Паулина тоже была счастлива, но не могла, подобно мужу, изгнать из своего сердца честолюбивые мечты. В первые дни брачной жизни она решила жить спокойно, в тени своего виноградника. Но она была жрицей Весты, принимала участие в управлении миром, испытала сладость могущества и власти. Честолюбие ее не было эгоистическим, она думала только о муже, и так как он был счастлив, то ее горделивые мечты на время заглохли.

Но она интересовалась римскими делами, и, когда друзья, оставшиеся верными Сенеке и навещавшие Номентанум, общались ей о бедствиях республики, она думала о тирании, угнетавшей человечество, и, глядя на своего мужа, мудрого, справедливого государственного человека, еще способного управлять миром, вспоминала слова, сказанные ею на терра-

се Нерона: «Велик ты и будешь еще выше».

В числе посетителей Номентанума был трибунал преторианской когорты по имени Субрий Флавий Это был честный и умный воин, обязанный своим возвышением Сенеке и еще более привязавшийся к нему после его падения. Он не мог принимать участия в ученой беседе философа с друзьями и часто уходил в сад прогуливаться с Паулиной, пока остальное общество спорило о запутанных философских проблемах или комментировало греческие стихи. Гордый дух Паулины, а может быть, и ее величавая красота производили глубокое впечатление на трибуна; и хотя он даже в мыслях не имел чего-нибудь обидного для своего знаменитого друга, но не скрывал удовольствия, которое доставляли ему прогулки с Паулиной.

Хотя она и была жрицей, а теперь женой философа, но женский инстинкт подсказал ей, что ее общество приятно трибуну, прежде чем он сам догадался об этом. Она знала себя и его; он был вернейший друг, который скорее сто раз наложил бы на себя руки, чем позволил бы себе малейшее оскорбление своему благодетелю; что касается Паулины, то в ее благородной натуре не было и тени порочности, и не существовало такого мужчины, который мог бы заставить ее пульс биться скорее, чем обычно.

Субрий скоро заметил, что Паулина интересовалась всем, что говорилось и делалось в Риме. Он сам чувствовал позор правления Нерона. Его римская натура возмущалась грубым

фарсом, разыгравшимся под управлением этого скомороха, его любовниц и любимцев. Он с полной откровенностью изливал свое негодование перед Паулиной. Постепенно Паулина составила себе представление о недовольных элементах римского общества.

Нерон под влиянием Пoppеи и недостойных любимцев вроде Тигеллина окончательно распустился, и с каждым днем наживал новых врагов своим развратом, жестокостью и сумасбродством. Пожар, в котором народ обвинял его, несмотря на казни невинных христиан, до некоторой степени сплотил недовольных. Простонародье было разорено, патриции вечно в тревоге, и даже самые смиренные люди начинали говорить, что, если государство не уничтожит Нерона, Нерон уничтожит государство.

Субрий сообщал обо всем этом Паулине. Ее честолюбивые мечты, никогда не исчезающие вполне, все более и более оживали, и она начинала думать: «Если Сенека не хочет сам нанести удара, то я должна сделать это за него».

Под ее влиянием недовольство Субрия превратилось из бесплодных жалоб в угрозу. Тогда Паулина решила, что боги посылают ей готовое орудие.

Однажды, после обеда, Сенека читал своим друзьям небольшой трактат, только что оконченный им, а Паулина и Субрий прогуливались по саду. Дойдя до небольшой мраморной беседки, Паулина вошла в нее; Субрий последовал за нею. Она уселась на скамейке и прислонилась к мрамор-

ной колонне, охватив руками затылок, чтобы защитить голову от холодного камня. В этой позе ее величавая фигура выступала особенно рельефно и лицо, обращенное кверху, казалось прекраснее чем когда-либо. Честность трибуна подвергалась величайшему испытанию; ему захотелось броситься перед ней на колени и целовать ее ноги. Она казалась ему воплощением благороднейшего идеала сероокой Минервы, и ему пришла в голову странная мысль, что у Париса был прескверный вкус.

Он только что рассказал ей о новой выходке Нерона, а когда они вошли в беседку, сообщил, что негодование и раздражение растут среди преторианских войск, жалованье которым задерживается, между тем как на постройку Золотого дома ухлопываются миллионы сестерций. Он прибавил, что воины, проклиная императора, который добивается славы в цирке и ни разу не выходил на поле битвы.

Паулина устремила свои холодные глаза на солдата и медленно проговорила:

– Я только женщина, и многое недоступно моему пониманию. Неделю за неделей, месяц за месяцем слышу я рассказы об этих бесчинствах и преступлениях, и начинаю думать, что в Риме не осталось ни одного мужчины.

Солдат покраснел при этих обидных словах.

– Ты жестока, – сказал он, – я думаю, что еще осталось несколько мужей, но что они могут сделать?

– Поступить мужественно! – быстро ответила она. И не

спуская с него глаз, продолжала: – Я помню, как однажды бешеная собака ворвалась в дом моего отца. Испуганные рабы разбежались, но мой отец схватил дубину, бросился на бешеного зверя и нанес ему смертельный удар: он не хотел оставить жену и детей на произвол бешеного животного – он был мужчина.

Субрий встал и ответил с глубоким волнением:

– Довольно, госпожа. Ты требуешь моей жизни; если б у меня была их дюжина, они все были бы к твоим услугам.

Едва заметная улыбка мелькнула на губах Паулины.

– Я не требую и не имею права требовать твоей жизни, – сказала она ласково, – и ты не должен предлагать ее мне, но я хочу, чтобы всякий, кто дорожит моей дружбой, помнил, что он римлянин.

Солдат, оставив недомолвки, решил говорить откровенно.

– Как же должно совершиться это дело. – сказал он, – тайно или открыто?

Она отвечала с некоторым нетерпением:

– Может ли женщина решить этот вопрос? Открытое восстание лучше, но так или иначе, а дело должно быть сделано.

– Одно необходимо для успеха, – сказал Субрий, – руки есть, но где найти голову? Укажи нам предводителя.

– Ты сам будешь им, добрый Субрий! – воскликнула она ласково, наклоняясь к нему.

Трибун покачал головой.

– Нет, – возразил он, – кто согласится пойти за ничтожным преторианским офицером? Нам нужен вождь совсем иного рода. Пусть будет... – И он прошептал имя Сенеки.

– Нет, нет! – воскликнула она. – Какие вы мужчины герои, если не можете обойтись без старика, если усталый мозг должен быть вашим руководителем и дряхлее тело щитом. Нет, Флавий, я не хочу, чтобы вы отняли у меня моего мужа.

– Но кто же еще в Риме может заменить его? – спросил трибун.

Она помолчала с минуту, потом сказала задумчивым тоном:

– Я много наслышалась о Кае Пизоне, он знатного рода, тщеславен, честолюбив и смел. Он готов на все и неразборчив в средствах. Его пороки скорее нравятся, чем возмущают народ. Пусть он будет вашим вождем.

– Ты хочешь провозгласить Каю Пизона императором? – спросил он с изумлением.

– Да сохранят нас боги от этого! – воскликнула она. – Нет, я не хочу, чтобы Кай Пизон сделался императором. Я сказала: «Пусть он будет вашим вождем».

Уходя, Субрий думал: «Я убью Нерона, и Сенека будет управлять миром; Рим выиграет от этого, но я...»

Он заставил себя не думать об этом и – пошел в преторианский лагерь.

## XXVI

Субрий Флавий отправился к знакомому офицеру, который в эту ночь пригласил на обед некоторых товарищей, в том числе Фения Руфа, капитана преторианской гвардии.

Бедный Субрий вовсе не был расположен к веселью; он предпочел бы отправиться домой спать; но собрание смелых и недовольных офицеров казалось ему подходящим, чтобы начать отчаянное предприятие.

Он был очень рассеян; товарищи заметили это и подшучивали над торжественным выражением его лица.

– Трибун влюбился! – воскликнул один из присутствующих, бойкий молодой центурион.

Субрий взглянул на него со смущением и густо покраснел. Заметив, что эта шутка ему неприятна, хозяин тотчас переменял разговор: римские офицеры были любезными и утонченными.

«Я никогда больше не увижу ее, – думал Субрий, – а она и не вздохнет обо мне. Великий Юпитер! Какой жестокой может быть лучшая из женщин. Стоит ей полюбить кого-нибудь и ради любимого человека она предает на муки и смерть себя, лучших друзей, кого угодно».

Фений Руф, начальник отряда преторианцев, и префект Тигеллин от души ненавидели друг друга. За несколько дней до этой пирушки Фений сообщил императору; что если вой-



ска не получают жалования, то наверняка поднимут бунт. Император был очень недоволен этим известием, а Тигеллин, раздувая его неудовольствие, намекнул, что начальник обманывает его, желая прикарманить деньги. Однако Нерон очень хорошо понял тайные побуждения своего любимца и щедро заплатил преторианцам с тем проблеском благоразумия, которое нередко замечалось у него. Простые воины на время утомонились, но среди офицеров недовольство росло.

За обедом выпили немало вина, и языки развязались. Компания была очень весела, и недовольство, господствовавшее в военных кружках, выражалось в остротах и насмешках.

Имя Тигеллина вызвало краску гнева на лице Фения, и хозяин, заметив это, весело воскликнул:

– Стоит ли о нем разговаривать! Пью за здоровье нашего грозного императора.

– Чей голос заглушает грома Юпитера! – заметил один из гостей.

– Украшение цирка! – засмеялся другой.

– Утеха публичных домов!

– Аполлон!

– Геркулес!

– Марс!

– Щедрый Плутон!

Обмениваясь этими шутками, сопровождаемыми взрывами смеха и чоканьем, гости выкрикивали тосты.

Только Субрий Флавий угрюмо молчал, и тогда, как другие осушали кубки, он не притронулся к своему.

– Как, Флавий? – заметил Фений с притворной строгостью. – Ты не хочешь пить за здоровье нашего великого Императора?

– Нет! – отвечал Субрий Флавий таким тоном, что смех собеседников как-то сразу прекратился; затем, подняв кубок, он прибавил: – Пью за смерть комедианта.

Веселье разом исчезло. Гости, поглядывали на трибуна и друг на друга с удивлением и страхом. Фений Руф приподнялся на своем ложе; тревога и замешательство ясно выражались на его лице.

Глаза офицеров переходили с трибуна на Руфа. Он был начальник; его долг требовал арестовать мятежного трибуна, и все присутствующие молча ожидали его решения. Вино было крепко; Руф по натуре был тщеславен, сознание своей власти бросилось ему в голову. Он кинул надменный взгляд на собеседников, брови его нахмурились, глаза сверкнули, он выпрямился и воскликнул:

– Смерть комедианту!

Гости вскочили на ноги, пламя светильников заколебалось от восклицаний, и среди звона разбиваемых бокалов раздался оглушительный крик:

– Смерть комедианту!

Казалось, бремя свалилось с плеч присутствующих. Как зрители в цирке по окончании отчаянной борьбы разом пе-

реходят от напряженного молчания и беспокойного ожидания к веселой болтовне, так и эти офицеры, решившись после многих лет глухого негодования и тяжких сомнений на опасное предприятие, шумно выражали свою радость.

Провозглашали тост за тостом, осыпали поздравлениями трибуна. Молодой центурион, насмешка которого задела за живое трибуна в начале – пира, воскликнул:

– Ай да трибун! Так вот на какое дело вдохновила его любовь! Пью за здоровье неведомой возлюбленной трибуна, нашей общей царицы!

Субрий Флавий со сверкающими глазами поднял кубок и осушил его до дна.

Большинство гостей были молодые люди, беззаботные, смелые и склонные к отчаянным предприятиям. Им нечего было терять, кроме жизни, которую они в грош не ставили, и денег, которые во времена Нерона приобретались без труда и терялись без сожаления.

Не таковы были Фений Руф и Субрий Флавий. Люди уже пожилые, они пользовались уважением и мечтали о дальнейших успехах. Первый был едва ли не важнейшим военачальником в Империи, второй славился своими воинскими талантами и мог рассчитывать на самые видные должности. Они не могли относиться к заговору легко и оставались серьезными и задумчивыми среди общего веселья.

Компания разошлась, поклявшись остаться верными делу и сохранить его втайне и предоставив, по общему соглаше-

нию, выработку подробностей Руфу и Флавию.

Трибун сразу наткнулся на затруднения, которые предвидел заранее. Прежде всего возник вопрос о предводителе. Руф, тщеславный по натуре и к тому же гордившийся своим саном, желал руководить заговором; трибун сознавал, что его начальнику недостает двух качеств, необходимых для вожака народного восстания, – знатности и личного обаяния. Флавий, согласно желанию Паулины, указал на Кая Пизона. Руф согласился, но втайне остался недоволен. Он охотно признал бы своим вождем Сенеку, великого государственно-го мужа, но вовсе не желал подчиняться шалопаю вроде Пизона. Но так как Пизон был поддержан всеми заговорщиками, то Руф – подчинился, оскорбленный до глубины души и поклявшись впоследствии отомстить.

Флавий обратился к Пизону, когда тот шел в сенат. Воин знал, с кем имеет дело, и старался поймать его на удочку, как рыбак ловит большую и сильную, но буйную и ненадежную рыбу. Он сообщил сенатору об одной из тех жалоб, которые постоянно возникали в среде преторианцев. Причиной ее было какое-то постановление, изданное в правление Сенеки. При упоминании о Сенеке Пизон стал слушать внимательно; а отозвавшись в резких выражениях об опальном министре, Флавий без труда приобрел его симпатию.

– Я займусь этим делом, – заметил Пизон с важным видом. – Я заступлюсь за вас перед сенатом, и, если понадобится, – перед Цезарем.

– Ах, Пизон! – отвечал Флавий вполголоса. – Если б твое заступничество за нас было так же сильно, как велико твое красноречие.

Пизон, польщенный этой похвалой и в то же время несколько смущенный намеком, заметил;

– Без сомнения, способный человек на месте Сенеки мог бы оказать много услуг государству.

– На месте Сенеки! – воскликнул трибун с притворным гневом. – Ты, отпрыск дома Кольпурния, говоришь о месте Сенеки! Нет, не того желают преторианцы для блистательного друга, для своего любимца.

Пизон поспешно перебил его:

– Неужели я так популярен в войске, дорогой Флавий?

– Сегодня я даю обед некоторым из офицеров, – сообщил Флавий, – приходи и увидишь сам... если, конечно, знаменитый сенатор удостоит своим посещением жилище бедного воина.

Пизон, увлекаемый честолюбием, принял приглашение.

Торжественный прием окончательно вскружил ему голову. Он легко поддался убеждениям Флавия и Руфа. Он уже воображал себя в Золотом доме, где Пoppея и другие красавицы увиваются вокруг него, а Сенека тщетно молит о помиловании. Эти мечты заставили его присоединиться к тосту Флавия: «Да здравствует республика и смерть комедианту!»

Заговор распространился подобно заразе и нашел массу сторонников во всех слоях римского общества. Строгое со-

блюдение тайны, несмотря на массу участников, свидетельствовало о серьезных намерениях заговорщиков. Нерон почти не имел друзей. Поппея, получив кое-какие сведения о заговоре, пожелала успеха Пизону. Тигеллин, мало знавший, но подозревавший многое, поспешил помириться с Фением Руфом; стража, охранявшая спальню императора, не задумалась бы, чтобы перейти на сторону заговорщиков.

Один Тит остался верен несчастному Цезарю. Нерон доверял ему, и он мог бы оказать неоценимые услуги заговорщикам. Но люди, знавшие его, понимали, что его не подкупить никакими сокровищами, и он остался в доме Цезаря предметом страха и подозрения для конспираторов.

Первое затруднение возникло по поводу вопроса, каким образом привести в исполнение заговор. Флавий, Руф и большинство преторианцев стояли за открытое восстание, за то, чтобы отправиться в Золотой дом, умертвить Нерона и провозгласить нового императора по выбору войск. Но участники заговора из граждан горячо восставали против этого плана, осуществление которого должно было безмерно увеличить значение войска, и без того уже грозившее смутами. Они предложили другой способ. Нерон собирался в гости к Пизону, на виллу в Байи. Если бы секатор согласился подсыпать несколько щепоток белого порошка в блюдо олив, все затруднения были бы устранены.

Пизон с ужасом и негодованием отверг это предложение. Он заявил, что предки передали ему имя, не запятнанное

изменой, и что он скорее откроет себе жилы, чем умертвит доверившегося ему гостя.

Некоторые из заговорщиков находили странной такую щепетильность в человеке, который оплатил изменой за дружбу Сенеки. По их мнению, отравить дурного правителя было не более гнусно, чем нанести предательский удар другу.

Наконец было решено, что Субрий Флавий должен убить императора, когда тот будет возвращаться из Байи.

Вожаки заговора старались разжечь трибуна лестью и похвалами. Они говорили, что он один сохранил заветы Брута в развращенном веке, что только его рука способна нанести решительный удар, что имя его будет жить в бессмертных поэмах вместе с именем Брута.

Субрий очень хорошо понимал, чего стоит эта лесть, но здравый смысл подсказывал ему, что он один способен к решительным действиям в этой шумной толпе. Вспомнив о том, что заговор начался по его инициативе и Паулина ждет исполнения его обещания, он согласился взять на себя кровавое дело, которое товарищи хотели взвалить на него.

Многие из заговорщиков желали привлечь на свою сторону Сенеку, но Субрий горячо воспротивился этому, а Пизон, вовсе не желавший исчезнуть в тени философа, поддержал его.

Когда смутные вести о заговоре достигли ушей Паулины, она прислала к Субрию надежного человека с просьбой зай-

ти к ней и рассказать, как идут дела в Риме.

Ответ Субрия служил доказательством его преданности весталке. Ничто не могло доставить ему такого удовольствия, как пойти к Паулине, сидеть с ней в мраморной беседке и рассказывать о своих опасениях и надеждах. Но он понимал, что это посещение в разгаре заговора, могло бы погубить ее и Сенеку в случае неудачи.

– Передай своей госпоже, – сказал он посланному, – что когда будет можно, я приду, если же не приду, то пусть она помнит, что я был и остался ее другом.

Сначала вожди заговора собирались у трибуна. Но когда он взялся нанести решительный удар, Пизон, очень заботившийся о своей безопасности, стал искать более надежного и менее подозрительного места.

После многих разговоров решено было перенести главную квартиру заговорщиков в дом некоей Эпихариды, старой няньки Пизона, жившей по Фламиниевой дороге, тотчас за городской стеной.

## XXVII

У Фламиниевых ворот стоял небольшой скромный дом, с маленьким садиком, откуда открывался прекрасный вид на зеленые склоны Плицийского холма. Здесь нашла приют Актея.

Дом этот принадлежал Пизону, который поместил в нем



свою старую кормилицу и няньку Эдихариду, назначив ей ежегодную пенсию.

С Эпихаридой жила ее подруга, Эклога, кормилица Нерона, тоже получавшая пенсию. Уживались они отлично, может быть, потому, что их характеры представляли резкий контраст. Эклога была веселая, болтливая старушка шестидесяти лет, тогда как Эпихарида, еще не достигшая пятидесятилетнего возраста, скрывала страстную натуру – под маской неприступной суровости.

Эклога обожала Нерона, своего милого мальчика, считая его до сих пор лучшим из людей; Эпихарида обожала Пизона, героя, исполненного отваги и талантов и несомненно предназначенного для великих успехов и почестей.

В одном они сходились: обе были суеверны. Привидения, семейные духи, сверхъестественные силы и чудеса занимали их простодушные головы, и они гонялись за всяким пророком или гадалем, привлекавшим на минуту внимание римского общества.

Проповедник затронул в их сердцах струны, которым суждено звучать, пока жизнь сохраняется в теле. Как и тысячи римлян и римлянок, они смутно сознавали, что новая религия восполняет давно ощущаемую потребность.

Язычество могло удовлетворять римлян, пока им приходилось биться со слонами Пирра, топить карфагенские корабли, одолевать буйные племена галлов. Но когда это было окончено, когда римляне получили возможность отдохнуть

и одуматься, они убедились, что холодное язычество не удовлетворяет потребности их духа. Оно признавало, что люди должны есть, пить, бороться и думать для того, чтобы жить; но никогда не могло понять, что для того, чтобы жить, люди должны любить.

Две женщины были добры по натуре, преисполнены мистическим рвением, скорбели о бедствии человечества, но чувствовали себя стесненными, связанными, придавленными формальной, утратившей всякий смысл римской религией. И кто может понять ту радость, которую они и тысячи им подобных испытали, узнав, что священнейший долг человека – повиноваться лучшему влечению своей природы и давать простор порывам своего духа, не стесняя его узкими правилами педантизма, что только любовь есть Бог и что воля Его – океан кротости, омывающий бесконечный мир!

Когда Актея явилась к ним, они приютили ее ради Христа. Она была бедна, печальна, всеми покинута. И они радовались, что могут облегчить ей существование. Она оставила во дворце много драгоценностей и богатых платьев, которые Тит хотел отослать ей, советуя поберечь их на черный день, но она отказалась. Он понял, что она не отступится от принятого решения.

Она не была ленива; римские дамы того времени носили богато вышитые покрывала, а у Актеи были искусные руки и греческий вкус. Не желая обременять добрых людей, приютивших ее, она стала зарабатывать свой хлеб усердным и

непрестанным трудом.

Узкая лестница вела в ее комнатку, где после долгих часов усердной работы она преклоняла колени, шептала наивную детскую молитву и засыпала тем спокойным сном, который служит лучшей наградой труженику. Под ней находилась большая комната, служившая некогда столовой. Теперь там помещалась Эпихарида, и часто свет от ее лампы проникал в комнату Актеи сквозь щели в полу.

Однажды ночью молитва Актеи была прервана шумом голосов, доносившихся снизу.

«У Эпихариды братья», – подумала девушка и легла в постель, закрыв усталые глаза.

«Братья» нередко собирались у Эпихариды, и Актея иногда присоединялась к их молитвам.

Со времени пожара и последовавшего затем гонения христиане, уцелевшие от истребления, могли собираться для общественного богослужения только с крайней осторожностью. Но дом на Фламиниевой дороге был привилегированным местом. Нерон знал, что его кормилица обратилась к христианской вере; без сомнения ему было известно и обращение Актеи. Эти две женщины были единственными, к которым он питал уважение. Поппея разжигала его страсть, он любил ее, но никогда не чувствовал к ней такого почтения, как к своей старой кормилице и бедной греческой девушке.

Однажды ему донесли о сборищах христиан в доме Эклоги и Эпихариды. Нерон пришел в бешенство, назвал до-

носчика лгуном и велел бичевать до тех пор, пока тот не поклялся, что его донос чистый вымысел. После этого христиане могли без всякой помехи собираться во ночам в доме на Фламиниевой улице.

Итак, услышав звуки голосов, Актея спокойно улеглась спать. Не раз и впоследствии эти звуки убаюкивали усталую девушку. Но однажды ночью Актее не спалось; она долго возилась и ворочалась на постели, невольно прислушиваясь к словам, долетавшим из комнаты Эпихариды. Голоса раздавались все громче и громче, и гневнее всех звучал голос Эпихариды.

Актея с ужасом схватилась за грудь, услышав:

– И вы считаете себя мужчинами, жалкие трусы? Разве человечество не стонет от того, что он живет? Да, да, сверкай глазами, Пизон, и ты, Руф, и ты, Флавий! Вы только и можете сверкать глазами, но ваши кинжалы не сверкнут перед его лицом. Доставьте мне пропуск во дворец, и сегодня же ночью, пока вы тут трусите и дрожите, я убью его в объятиях этой развратной императрицы.

Слабый крик вырвался из уст Актеи, но был заглушен шумом, поднявшимся вслед за этими словами.

Наконец сильный, низкий голос выделился над остальными, и водворилась тишина.

– Я виноват во всем, – говорил этот голос, – на мою долю выпала честь разыграть роль Брута в отношении этого презренного Цезаря. Я благодарю вас за эту честь и прошу изви-

нения за мою медлительность. Но имей терпение, благородный Пизон, через несколько часов Золотой дом и целомудренная Поппея будут к твоим услугам.

Смех и одобрение встретили эти слова, а оратор продолжал более серьезным тоном:

– Слушайте! Завтра утром Нерон будет в цирке. Когда он станет подниматься по лестнице, один из вас бросится перед ним на колени, как бы умоляя о милости, схватит его за ноги и опрокинет; я исполню, что от меня требуется, а остальное зависит от вас. Ты, Пизон, будешь ожидать у храма Цереры, и, когда все кончится, Руф проводит тебя в лагерь, чтобы солдаты могли приветствовать своего нового императора.

Ропот одобрения, крики: «Да здравствует Субрий Флавий!», «Да здравствует храбрый трибун!» – огласили комнату; затем было решено, что все совершится так, как предлагал Субрий.

Актея лежала в своей постели, оцепенев от ужаса. Они убьют Нерона, которого она любила и за которого молилась денно и ночью! Убьют врасплох, неподготовленного, погрязшего в грехах, без надежды на прощение и искупление. Она с трудом верила, что Эпихарида участвует в этом кровавом заговоре, потому что Эпихарида была христианка, а Актея помнила учение любви, завещанное проповедником.

Всю ночь Актея не сомкнула глаз; она ни на минуту не сомневалась в своем долге, но не знала, как лучше выполнить его. Она не хотела погубить заговорщиков, в особенно-

сти Эпихариду, которая приютила ее. Но спасти и Нерона и его врагов было трудно. Она решила идти во дворец рано утром, а там... там, может быть, она встретит Нерона, что будет для нее тяжким испытанием, или Поппею, что будет невыносимым унижением. Внезапно она вспомнила о своем старом, верном друге Тите; на него можно положиться, он даст благоразумный совет; она разыщет его и сообщит ему ужасную тайну, случайно достигшую ее ушей.

Актея надела черное платье, и, дождавшись рассвета отправилась во дворец.

Поднявшись на Палатин, она вошла в сад Цезаря; тут все изменилось со времени пожара; перед ней возвышались огромные постройки Золотого дома; мраморные колоннады пересекали долину по направлению к Делийскому холму. Но Нерон все еще жил в старом здании, и Актея беспрепятственно вошла в него через террасу. Тут ей загородил дорогу стражник, стоявший на посту.

Актея в волнении и нетерпении вспомнила о недавнем прошлом и, топнув ногой, воскликнула повелительным голосом:

– Мора!

Это был пароль, служивший для свободного доступа во дворец.

Солдат посторонился и пропустил Актею.

Снова она стояла в доме Нерона. Увидев раба, подметавшего мраморную лестницу, которая вела в ее бывшее поме-

щение, она сказала ему:

– Отыщи центуриона Тита и попроси его выйти ко мне на минуту.

Раб вострепнулся, услышав ее голос, и, по-видимому; хотел ответить грубостью или отказом, но повелительный тон Актеи смутил его. Он побежал исполнять приказание, а Актея уселась на ступеньки. Вернувшись через несколько минут, он сказал, что не мог найти Тита.

Время шло. Нерон каждую минуту мог отправиться в цирк, и Актея дрожала от ужаса.

– Проведи меня в комнату Цезаря, – сказала она.

На этот раз слуга отказался.

– Ты, госпожа, сама знаешь, как туда пройти, – отвечал он угрюмо. – Что касается меня...

И он указал на рубцы, покрывавшие его плечи.

– В таком случае, я хочу видеть императрицу.

Раб пожал плечами, провел ее в комнаты Поппеи, и, крикнув служанку, отправился донести лестницу.

– Передай императрице, – сказала она служанке, – что гречанка Актея желает видеть ее.

Девушка с изумлением взглянула на нее, но повиновалась и, вернувшись, пригласила ее войти.

В эту минуту Нерон, собираясь отправиться в цирк, вышел на лестницу и, заметив, что какая-то фигура прошла в комнаты Поппеи, спросил у раба, подметавшего лестницу:

– Кто вошел сейчас к императрице?

– Госпожа Актея, – отвечал раб.

Нерон быстро вбежал по лестнице, но перед дверью остановился и, поколебавшись с минуту, свернул в боковой коридор.

Актея прошла за служанкой в комнату, которую когда-то занимала сама. Поппея предпочла ее всем остальным комнатам дворца. Она покоилась на ложе из слоновой кости, где прежде возлежала Актея; ноги ее были прикрыты пурпурным шелковым покрывалом, которое Нерон подарил некогда гречанке. Зоркие глаза Актеи узнали в вышитой мантии, накинутой на плечи. Поппеи, ту самую мантию, которую она носила в прежние годы, а в драгоценностях, украшавших ее руки, шею и грудь, многие из тех, что она оставила во дворце.

Поппея встретила ее ленивой усмешкой, но в глазах ее блеснуло злобное удовольствие при виде побежденной соперницы. Она предложила ей сесть на низенькую табуретку подле ложа и воскликнула, прежде чем Актея успела подавить чувства гнева и стыда, сдавившие ее грудь:

– Бедняжка! Какое на тебе платье! Возьми этот рубин и купи мантию, чтобы прикрыть свои лохмотья.

Она сняла с пальца кольцо и протянула его Актее.

Грубая насмешка должна была бы оскорбить Актею, но вместо того подействовала как целебный бальзам на ее истерзанное сердце. Она почувствовала, насколько она счастливее раззолоченной развратницы, лежавшей перед нею.

Она улыбнулась:



– Я пришла сюда помочь, а не просить помощи.

Ее спокойствие задело императрицу, и ее голос задрожал от гнева. Однако она продолжила:

– Как поседели твои волосы, а я слыхала от Цезаря, что когда-то они были прекрасны. Как ты думаешь, сделаются и мои такими же, когда я буду твоих лет?

И она тряхнула своими пышными темными кудрями.

Поппея была на десять лет старше Актеи, и Актея знала это.

– Когда ты достигнешь моих лет, – сорвалось с ее губ, – твои волосы, наверно, будут так же седы, как мои.

Окинув величественным взглядом худенькую, изможденную девушку, Поппея произнесла:

– Чего ты хочешь от меня?

– Я ничего не хочу от тебя, – ответила Актея.

– В таком случае, когда будешь уходить, пошли ко мне служанку; я хочу одеваться, чтобы идти в цирк.

– Не ходи в цирк сегодня! – воскликнула Актея. – И если ты любишь Цезаря, скажи ему, чтобы он остался во дворце.

– Что это значит? – воскликнула Поппея, быстро приподнявшись и устремив на нее беспокойный взгляд. – Почему Цезарь должен остаться?

– Потому что ему угрожает опасность! Я слышала, что несколько римлян-сенаторов, солдат и рабов сговорились убить сегодня Цезаря на ступенях цирка.

– Ты говоришь, что Пизон и Флавий хотят убить его сего-

дня? – воскликнула Поппея.

– Пизон? Флавий? – повторила Актея.

Краска залила лицо Поппеи, но серые глаза ее упорно смотрели в глаза Актеи.

– Да, – повторила она, – разве ты не сказала, что Пизон и Флавий сговорились убить Цезаря сегодня?

– Я ничего не говорила о них, – сказала Актея.

– Говорила, девушка, и теперь говоришь! – гневно воскликнула Поппея. – Иначе откуда бы я узнала об этом?

– Ты все знаешь, – отвечала Актея, вставая, – ты все знаешь!

Поппея была прекрасная актриса. Приподнявшись на ложе, она отвечала с великолепным жестом:

– Да, я знаю все! – И с презрительной улыбкой прибавила: – Неужели ты думаешь, что римский император нуждается в предостережениях рабыни, пока Поппея Сабина заботится о его безопасности?

– Ты спасешь его, ты предупредишь его! – торопливо сказала Актея.

– Когда Цезарь будет нуждаться в услугах рабыни, я пошлю за тобой, – усмехнулась Поппея.

Актея повернулась и хотела уйти, но императрица остановила ее.

– Сядь, – сказала она, – и расскажи мне, как ты узнала планы этих людей.

Актея вкратце рассказала ей обо всем, что слышала в ком-

нате Эпихариды.

Поппея слушала молча, а потом сказала:

– Рассказала ты кому-нибудь об этом?

– Никому, кроме тебя.

– В таком случае ступай домой и сохрани все в тайне. Быть может, Цезарь сам отблагодарит тебя сегодня же.

– Нет, нет, – воскликнула Актея, – я не нуждаюсь в благодарности! Я не желаю от него никакой благодарности.

– Как хочешь, – нетерпеливо отвечала Поппея. – Во всяком случае, иди и сохрани все в тайне.

Когда девушка вышла из комнаты, Поппея кликнула служанку и сказала ей:

– Ступай и позови ко мне немедленно центуриона Тита.

Она сидела спиной к занавеске, отделявшей ее комнату от маленькой передней, и не заметила, что чья-то рука высунулась из-за занавески, как бы желая ее отдернуть, но тотчас же исчезла.

## XXVIII

Получив приглашение Поппеи, Тит с нескрываемым отвращением последовал за девушкой. Уже не в первый раз императрица посылала за ним; не проходило дня, чтобы она не испытала над ним свое искусство оболыщения. Равнодушные солдата оскорбляло ее честолюбие. Она повергла Цезаря к своим ногам, заняла место Актеи и все-таки была недо-

вольна и оскорблена тем, что центурион преторианской гвардии не поддавался ее чарам.

Когда Тит вошел в комнату, Поппея по-прежнему покоилась на ложе из слоновой кости. Тит не обладал пылким воображением и бросил на нее взгляд холодного отвращения. Уже не первый раз видел он, как ее туника нечаянно соскальзывала с белого плеча или случайно открывала часть груди, но всегда оставался к этому равнодушным.

Его холодный взгляд смутил ее, и она сказала насмешливым, но не совсем естественным тоном:

– Я послала за тобой, непобедимый стоик, чтобы просить у тебя... Ты не догадываешься, что?

– Нет, – сухо отвечал Тит.

– Если бы поцелуй, ты бы отказал?

– Да.

– А между тем, – воскликнула она печальным тоном, – мои губы оказались достойными императора. Но я старею и становлюсь безобразной, и грубый центурион может безнаказанно оскорблять меня.

Она заплакала, но осторожно, чтобы не повредить своей красоте и не смыть пудру, покрывавшую щеки;

– Ты посылала за мной, госпожа, – сказал он нетерпеливо. – Чего ты требуешь?

Поппея отвечала таким вызывающим взглядом, что солдат покраснел. Она заметила это и расхохоталась.

– Садись здесь, – пригласила она, подвигаясь на ложе, но

Тит отказался. – Воин, – воскликнула она, – ты можешь смеяться надо мной, но обязан повиноваться. Я императрица и приказываю тебе сесть рядом со мною.

Тит исполнил ее приказание с отвращением, которого не старался скрыть. Она взяла его за руку.

– Ах, Тит, счастлива та женщина, которая приобретет такого смелого и верного любовника.

Говоря это, она подвинулась к нему и положила голову на его плечо.

– Я пришел сюда, госпожа, за твоими приказаниями. Сообщи мне их, и я уйду.

– Приказаниями! – сказала Пoppея. – У меня нет никаких приказаний для тебя. Ведь если бы я приказала тебе любить меня хоть вполовину так, как ты любил еврейку, ты бы не послушался. Я не отдавала твоей возлюбленной на съедение зверям, – продолжала она. – Я солгала, сказав это. Это дело Цезаря. Он задолжал еврею и расквитался с ним этим способом.

– Ты обманываешь, – сказал Тит, Он хотел встать, но она схватила его за руку;

– Ты крепко любил ее, если решился биться за нее с дикими зверями и притом на глазах всего Рима. Не знаю, любил ли меня кто-нибудь так сильно. Я думаю, что Цезарь ревнив. Если бы он увидел нас в этой позе, – она обвила рукой его шею, – то, вероятно, убил бы тебя.

Тит оттолкнул ее руку и сказал:

– Я воин и друг Цезаря.

– Ты друг Цезаря? – повторила она. – Я не думала, что у Цезаря может быть хоть один друг в целом мире.

Тит твердо взглянул на нее и повторил:

– Я друг. Цезаря и не хочу быть игрушкой его жены.

– Хороша игрушка шести футов ростом. Ты годишься в воины, но не в любовники. Какова скромность! Вообразить, что императрица мечтает о такой игрушке.

Тит, чувствуя себя не в силах скрыть свое смущение, хотел выйти из комнаты, а Пoppея, откинувшись на ложе, провожала его насмешливым хохотом. Но она еще не собиралась отпустить его.

– Поди сюда, нежный, простодушный юноша, – воскликнула она. – Поди сюда, мне нужно тебе сказать два слова. Если бы сегодня ночью Пoppея Сабина предложила тебе императорский венец, согласился ли бы ты вознаградить ее хоть одним поцелуем.

– Ты смеешься надо мной, госпожа, – отвечал он.

– Я не смеюсь над тобой, Тит, – возразила она. – Но куда ты собираешься идти?

– В цирк с Цезарем.

С минуту Пoppея молча смотрела на него, потом воскликнула серьезным тоном:

– Обещай мне не ходить сегодня в цирк.

– Я не могу этого обещать, – отвечал он.

– Обещай, обещай, – повторила она настойчиво, – и, мо-

жет быть, сегодня же вечером я буду в состоянии потребовать от тебя поцелуя, о котором говорила.

Он подумал, что она забавляется, и вышел из комнаты со словами:

– Я воин Цезаря и повинуюсь ему.

Бешенство мелькнуло на лице Поппеи подобно черной тени; она ударила кулаком по ложу. Она по-прежнему сидела спиной к соседней комнате и вновь не заметила, что занавеска зашевелилась.

Выйдя на лестницу, Тит наткнулся на Нерона. Император был бледен, углы его рта подергивались, и глаза светились недобрым светом. Молодой центурион хорошо знавший его, заметил эти признаки, предвещавшие – припадок бешенства.

Тем не менее он был более чем обыкновенно спокоен и ласков.

– А, мой центурион! – воскликнул он, когда Тит почти наткнулся на него.

Эти слова прозвучали точно эхо и только увеличили смущение Тита. По-видимому, Нерон не заметил этого и, положив руку на плечо центуриона, пошел с ним в коридор.

– Ты был у императрицы? – спросил он.

Центурион кивнул.

– Вы, вероятно, говорили о беспорядках во дворце? Какие-то негодяи забрались ночью в большую беседку озера. Поппея велела тебе исследовать это дело?

Тит молчал.

– Или, быть может, – продолжал Нерон, – она говорила о моей безопасности, просила тебя охранять меня на пути в цирк?

– Императрица говорила о цирке, – пробормотал Тит.

Нерон лукаво, но ласково взглянул на него и неожиданно спросил:

– Как ты думаешь, любит меня римский народ?

Тит уклонился от прямого ответа, но довольно неловко.

– Я воин, – сказал он, – и мало знаю о народе.

– Наивный малый, – засмеялся Нерон, – вот Сенека, так тот бы ответил: «Любовь черни в глазах мудреца то же, что ветер, который бывает теплым, когда дует с юга, и холодным, когда дует с востока». Или: «Тот, кто заслужил одобрение собственной совести, не обращает внимания на одобрение других».

Тит благоразумно промолчал.

Минуту спустя Нерон воскликнул тем же насмешливым тоном:

– А все-таки сказать, что у Цезаря нет ни единого друга в целом мире, – это слишком!

Несмотря на свое самообладание, Тит вздрогнул, и Нерон, опиравшийся на его плечо, не мог не заметить этого... Он пробормотал что-то в ответ, а император продолжал:

– Ты, например, друг и воин Цезаря.

Тит ничего не ответил, а Нерон продолжал холодным то-



НОМ:

– ... Друг и воин Цезаря, и ни предложение императорской власти сегодня вечером, ни поцелуй царицы любви не могли поколебать твою преданность.

Тит собрался с духом и спросил:

– Ты слышал...

– Боги, – перебил император, – нетрудно слышать и даже видеть сквозь шелковую занавеску.

По-видимому, изумление молодого человека крайне забавляло Нерона.

– Я не видел и не слышал ничего, что могло бы поколебать доверие Цезаря к его другу. Неужели ты не понимаешь, что это была шутка? Поппея очень тщеславна и всегда говорит, что в Риме нет человека, который бы мог устоять перед нею. Я предложил ей этот опыт над тобой. Поппея отлично разыграла свою роль и получила тяжелый удар, да, тяжелый удар, – повторил он почти свирепо, – Однако она хорошо играет, и ее шутки можно принять иногда всерьез. Для меня было немалым испытанием видеть, как она обнимала твою шею, но ведь мы с тобой философы, а?

Тит не знал, правду ли говорит император или нет, потому что в его голосе звучали сквозь дикую веселость угрожающие ноты. Но Тит чувствовал, что расположение Нерона к нему не поколебалось; что же касается Поппеи, то он был очень доволен, что она и ее супруг сведут счеты между собой.

– Если бы я был убит по дороге в цирк, – сказал Нерон, очевидно, намекая на что-то, – как ты думаешь, кто был бы выбран римским императором?

Тит отвечал, что не знает этого.

– Может быть, ты сам поселился бы в Золотом доме и наслаждался любовью Пoppеи Сабины, – продолжал император, пристально глядя на него.

– Цезарь шутит, – спокойно отвечал молодой человек.

– Ну, так Сенека?

– Сенека скорее согласится прожить неделю среди своих книг, в обществе Паулины, чем пятьдесят лет во дворце правителем мира.

– Твоя правда, – пробормотал Нерон. – Сенеке приятнее было бы написать оду, достойную Горация, чем завоевать Галлию. Но что ты скажешь о Кае Пизоне?

– Пизон – император! – с изумлением воскликнул Тит. – В тот день, когда в Риме воцарится такой предатель и бездельник, как Пизон, слава и могущество Рима погибнут.

– Верно, мой добрый друг! – воскликнул Нерон. – Итак, Пизон не будет императором. Рим смеется надо мной, потому что я артист. Однако же я не дурак; я слышу шутки, вижу улыбки и гримасы тех, которые аплодируют мне и венчают меня лаврами. Но в моем сердце есть капля крови Юлия, а в моей голове частица мудрости Сенеки, и я не позволю одурачить себя какому-нибудь Пизону.

Лицо Тита выражало полнейшее недоумение.

– Как! – воскликнул Нерон с горьким смехом. – Ты ничего не знаешь об этом? Итак, кроме меня, в Риме есть еще человек, не участвующий в заговоре. Кай Пизон и Субрий Флавий, один из ваших преторианских трибунов, намерены произвести переворот сегодня. Когда я буду подниматься по ступеням цирка, один из заговорщиков бросится передо мной на колени и повалит меня, а Флавий пронзит меня Мечом, а ваш достойный начальник, Фений Руф, предложит войскам провозгласить императором Пизона. Милый план, не правда ли? Теперь слушай: возьми отряд моих телохранителей, арестуй и приведи сюда Флавия и женщину, которую зовут Эпихарида, из дома по Фламиниевой дороге, знаешь? Не теряй времени, и мы еще поспеем в цирк.

– А Пизон? – спросил Тит.

– Пизон? О, я пошлю за ним Руфа.

Заметив удивление центуриона, он прибавил:

– Поверь мне, я знаю этого достойного воина. Он будет нам очень полезен.

Тит поспешил исполнить его приказание, а император пошел к Пoppее. Она лежала в той же позе, что и раньше; и, увидев его, воскликнула с кокетливым нетерпением:

– Наконец-то ты пришел? Я дожидаюсь тебя больше часа.

Нерон обнял ее и прижал к груди с почти безумной страстью.

– О, Пoppея, Пoppея! – воскликнул он. – Довольно! Довольно!

– Медведь! – сказала она, когда он выпустил ее. – Посмотри, ты разорвал мою накидку. Теперь я ношу этот пурпур по праву сана, но когда-то носила его по праву красоты.

Она напомнила ему о банкете у Отона, когда она дразнила его своим пурпурным платьем.

– Теперь, царица любви, – заметил он, – ты носишь этот пурпур как по праву красоты, так и по праву сана.

– О, – сказала она, – ты просто льстец; скажи мне разве я не становлюсь старой и безобразной?

Он отвечал ей поцелуем.

Поппея засмеялась своим загадочным, бархатным смехом:

– Ты очень ласков сегодня, Цезарь, очень ласков с бедной старухой!

Она была года на два или на три старше его и в полном расцвете красоты; но ей нравилось иногда напускать на себя материнский вид, который очень забавлял Нерона.

– Я всегда ласков с тобой, Поппея, – сказал он почти грустно.

Лицо Поппеи приняло торжествующее выражение; она ничего не отвечала и молча играла веером. Нерон тоже молчал; он сидел рядом с ней и, взяв ее руку, открывал и закрывал ее пальцы, целуя их розовые ногти.

Поппея неожиданно засмеялась:

– Ты точно мальчик, в первый раз влюбившийся.

– Позволь мне всегда оставаться таким, Поппея, – сказал

он.

– Нет! – отвечала она резко. – Вот и сегодня ты проленился целое утро, а ведь тебе нужно идти в цирк.

– Ты пойдешь со мной? – спросил он.

Поппея встала и лениво потянулась.

– Нет, – сказала она, – мне лень да и спать хочется; шум цирка расстроит меня. Ты должен идти один, Цезарь.

– Так лучше я останусь с тобой, царица любви.

– Полно! – сказала она. – Народ ожидает тебя, и Спицилл готовится убить своего противника.

Она смотрела в зеркало и не замечала, что его лицо искажалось страшными судорогами.

– Так мне нельзя остаться с тобой?

– Нет! – ответила она шутливо.

– Нет?

– Нет!

Глаза Нерона расширились, вены на лбу вздулись, рот открылся; он задыхался и дрожал всем телом, Она с улыбкой взглянула на него, увидела его лицо и вскрикнула от ужаса.

Демон, боровшийся в нем с любовью, одолел его.

– Гнусная тварь! – прохрипел он и, схватив ее, ее, носившую в своей утробе его нерожденного ребенка, ударил о стену и бросил бесчувственную на мраморный пол.

## XXIX

Во дворце царило страшное смятение.

Поппея лежала, стаяя, на ложе, куда принесли ее служанки; доктора толпились вокруг нее, покачивая головами и пожимая плечами.

Нерон в припадке бешенства метался по коридорам, и рабы разбегались при его приближении, как овцы перед бешеной собакой. Префект Тигеллин, секретарь Эпафродит и начальник преторианцев Фений Руф всю ночь пьянствовали во дворце. Утром они были разбужены шумом, но беззаботные и пьяные, снова принялись за кубки, и комната огласилась их криками и песнями.

Заговор был расстроен прежде, чем Тит успел вернуться с арестованными. Один сановник, игравший важную роль в заговоре, имел неосторожность довериться своему вольноотпущеннику, некоему Милиху. Милих, убежденный, что предприятие кончится неудачей, решил извлечь возможно большую пользу из своих сведений. Узнав в последнюю минуту о намерении заговорщиков убить Нерона в цирке, он опрометью бросился во дворец.

К счастью для него, бешенство Нерона к этому времени почти испарилось само собой. Однако когда вольноотпущенник очутился с глазу на глаз с неистовым императором, он готов был отдать все свое богатство, чтобы очутиться по-

прежнему в доме своего патрона. Но отступить было поздно, и Милих, бросившись к ногам Нерона, воскликнул, что он явился спасти жизнь Цезаря.

Нерон овладел собой настолько, что мог понять его слова. Приказав ему встать и идти за ним, он отправился в комнату, где обыкновенно занимался делами, и немедленно послал за своими ближайшими советниками – Тигеллином, Эпафродитом и Руфом.

Когда Тит, исполнив свое поручение, вернулся во дворец, Милих, рассказал ему о заговоре во всех подробностях. Центурион вошел в комнату и увидел Нерона; глаза его горели и руки дрожали после недавнего припадка, однако он был спокоен и серьезен. Тигеллин и Эпафродит, оба пьяные, смотрели на Милиха с комической важностью и сбивали его с толку глупыми вопросами, которые, видимо, раздражали Нерона. Фений Руф сидел бледный от ужаса.

Нерон по сообщению доносчика составил себе довольно ясное представление о характере и распространении заговора.

– Это нужно исследовать, – сказал он и прибавил, обращаясь к Титу, – введи сюда женщину.

Минуту спустя Эпихарида стояла перед своими судьями. Она была не молода и не хороша, но на всей ее фигуре лежала печать достоинства, которое поразило Тита и произвело довольно благоприятное впечатление на Нерона. Но она была женщина, и, по мнению римлян, если женщина не хо-

тела говорить, ей можно было развязать язык пыткой.

Нерон спросил, какие причины заставили ее присоединиться к заговору.

– У меня была дочь, Цезарь, – отвечала она, – звери растерзали ее на арене; был сын – и его тело сгорело вместо факела в твоём саду. Они были христиане и пошли к Христу, но не за них я хотела тебя убить.

– Так за что же? – спросил император.

– Чтобы ты не мог уничтожить божественную истину на земле.

– Разве твой Бог не в силах сам позаботиться о своей истине? – спросил он.

Эпихарида молчала.

Нерон потребовал, чтобы она назвала имена заговорщиков, но она упорно отказывалась. Тогда он велел позвать палачей, а Тит украдкой вышел из комнаты.

Он находил естественным, что упрямую отпущенницу подвергают пытке. Но вид страдающей женщины всегда напоминал ему о бледном лице на залитой кровью арене, и это воспоминание ножом вонзалось в его сердце.

Прошло два часа, а ужасающая тишина в комнате не нарушалась. Тит сидел за дверями, готовый заткнуть себе уши при первом крике, но ни единого звука не было слышно, и, когда император позвал его, истерзанное тело женщины лежало на полу, и на лице ее застыла спокойная улыбка. Нерон в коротких словах сообщил Титу, что Эпихарида вынесла са-



мые ужасные пытки, не вымолвив ни слова, и наконец лишилась сознания.

Он велел отправить ее в Мамертинскую тюрьму, а на следующий день снова представить для пыток.

На другое утро, когда половина знатных римлян спешила выдать друг друга, дрожа за свою шкуру, вольноотпущенница была принесена во дворец на носилках, потому что истерзанные члены не позволяли ей идти. По дороге она успела обвязать вокруг шеи свой пояс, а другой конец его прикрепить к балдахину над своей головой, и, когда носильщики достигли Золотого дома, в носилках лежал изуродованный труп.

Так умерла Эпихарида, претерпев ужасные пытки и согласившись лучше оскорбить небо самоубийством, чем спасти жизнь изменой.

Когда ее тело вынесли из комнаты, Нерон приказал привести Субрия Флавия.

Милих уверял, что Флавий был главной пружиной заговора и даже двух заговоров, потому что он подговорил центурионов тотчас же после убийства Нерона убить и Пизона и провозгласить императором Сенеку. Нерон не знал, впутывать ли ему в это дело своего старого учителя, так как был уверен, что тот не имел никакого понятия о заговоре, но в то же время сознавал, что Сенека был для него единственным опасным соперником. Убить Нерона мог всякий, но только Сенека был способен управлять миром.

Пока он размышлял об этом, вошел Флавий, погруженный в свои размышления. Нерон не заметил вопросительного взгляда, который трибун бросил на Фения Руфа. Лицо преторианца приняло выражение жалкой нерешительности. Но Тит заметил взгляд трибуна и увидел, что его рука сжимала что-то под туникой, пока он ждал знака от Руфа. К удивлению императора, Тит бросился на Флавия, схватил его за руку, дернул ее, и обнаженный кинжал упал на пол. Нерон бросил одобрительный взгляд на Тита, а Субрий Флавий пожал плечами и пробормотал:

– Могло бы случиться иное.

Действительно, если бы Руф не замедлил, кинжал трибуна погрузился бы в тело императора. Но Тит успел остановить его руку.

Мужество всегда нравилось Нерону, даже когда он был пьян или раздражен. Он сказал трибуну:

– Ты хотел убить меня, Флавий?

– Да, я хотел это сделать, если бы...

Он остановился, а Фений Руф, выхватив меч, воскликнул:

– Изменник! Негодяй! Он хотел убить Цезаря.

Пьяный преторианец, размахивая мечом, приблизился к Флавию, который смотрел на него с холодным презрением.

Но Нерон сделал знак Титу, и тот оттолкнул Руфа.

Император засмеялся и сказал:

– Спрячь свой меч, достойный Руф, теперь я в нем не нуждаюсь. – И, обратившись к трибуну, прибавил – От тебя, Фла-

вий, я не стану требовать, чтобы ты выдал своих друзей.

Краска залила лицо воина. Он гордо выпрямился и в первый раз поклонился императору.

– Скажи же мне, – продолжал Нерон, – за что ты ненавидишь меня? Чем я оскорбил тебя?

– Ты оскорбил весь римский народ, – отвечал трибун. – Ты осквернил престол Юлия, Августа и Тиверия. Пока ты был правителем римлян, я верно служил тебе, но когда ты сделался правителем развратниц и наездников, я решился оказать услугу Риму, убив тебя.

– Ты храбрый малый, – сказал Нерон, – но ты должен умереть.

Трибун снова поклонился.

Нерон испытывал один из тех порывов, которые доказывали, что в нем сохранилась еще капля величия его предков.

– Я желал бы, – сказал он, – чтобы мои друзья были такие люди, как ты, тогда, может быть, я был бы лучше и мир счастливее, но судьба решила иначе, и я принужден довольствоваться достойным Руфом и добродетельным Тигеллином. Я не могу пощадить тебя, Флавий, так как это значило бы произвести смуту в народе. Но я рад выразить тебе свое уважение. Ради блага Рима ты хотел убить меня; ради блага Рима я осуждаю тебя на смерть.

Он встал со своего кресла и, протянув руку Флавию, которую тот пожал, вышел из комнаты в сопровождении стражи.

Тигеллин и Руф разразились аплодисментами.

– Великий! Божественный Цезарь! Великодушный император!

Нерон сдержал их восторг.

– Теперь не время для комплиментов, – сказал он, – заговор еще не подавлен. Руф, я знаю твою преданность. Пизон, которого хотели провозгласить сегодня императором, еще на свободе; возьми солдат и арестуй его.

Через полчаса Нерон в сопровождении Тита отправился в цирк; он спокойно поднялся по лестнице, приветствуемый кликами толпы, и почти весь день любовался играми.

Он был прав, говоря, что заговор еще не подавлен. Заговор был сильнее, чем думал Нерон, и если бы предводителем был решительный человек, он мог бы еще удасться.

Рано утром весть об измене достигла Пизона, и кучка заговорщиков толпилась в доме сенатора. Мнения разделились. Одни советовали бежать в Галлию, где, по слухам, готовился к восстанию пропретор Виндекс; другие говорили, что они должны умереть вместе; третьи – что лучше всего отдаться на милость Цезаря; иные подумывали об измене; немногие смельчаки советовали Пизону попытать счастья во что бы то ни стало. Они убеждали, что преторианцы готовы к восстанию и охотно провозгласят его императором.

Это был мудрый совет. Если бы Пизон послушался, то, по всей вероятности, победа осталась бы за ним. Но в эту минуту вся его решимость исчезла. Он не знал, кого слушать, на что решиться, и, пока обсуждался вопрос жизни и смер-

ти, заботился о том, как лучше надеть тогу и какими духами надушить голову.

Время шло, и заговорщики один за другим оставляли своего беспомощного вождя, пока наконец остались только храбрейшие.

В последний раз они попытались пробудить его мужество. Но Пизон разразился истерическими слезами и объявил, что он решил на самоубийство.

Тогда и они ушли. Оставшись один, Пизон потребовал таблички и написал завещание, в котором осыпал Нерона самыми льстивыми похвалами и отказывал ему все свое состояние.

Когда час спустя Фений Руф вломился в его дом, жизнь Пизона уже отлетела, а кровь струилась из открытых вен.

Теперь заговор действительно был подавлен.

Всю ночь Руф свирепствовал в городе, убивая и арестовывая правых и виноватых.

На следующее утро он стоял перед Нероном и с довольной улыбкой повествовал о своих трудах.

– Ты много потрудился, достойный Руф, – сказал император, – теперь я хочу наградить тебя.

Руф отвесил низкий поклон.

– Ты уничтожил без остатка опаснейший заговор, и за эту услугу я даю тебе пятьсот тысяч сестерций...

Руф снова поклонился.

– Чтобы твоя вдова и сироты ни в чем не нуждались! –

прогремел император.

Лицо Руфа покрылось смертельной бледностью.

– Поглядите на него! – воскликнул Нерон. – Этот жалкий трус, предавший казни несчастных, которые доверились ему, сам был одним из главных участников заговора. Он недостойн жить; возьмите его и избавьте от него мир.

Почти потерявшего сознание Руфа потащили к Эсквилинским воротам, где сильный удар меча разом положил конец его слезам, крикам и мольбам.

В этот день Рода, служанка Поппеи, сообщила Нерону, что ее госпожа умирает.

Нерон никогда не помнил того, что делал в припадке бешенства. Так и теперь, он чувствовал раздражение против Поппеи, но сам не знал, почему разговор, подслушанный им, и последовавшая затем ужасная сцена совершенно изгладилась из памяти.

Известие, принесенное Родой, сразу уничтожило его глухую злобу.

– Поппея! Поппея! – воскликнул он. – Царица любви, моя жена умирает! Неужели есть в небесах боги, мстящие за грехи людей! Скажи мне, девушка, что же случилось с императрицей?

Испуганная служанка не смогла вымолвить ни слова. Нерон взглянул на ее бледное лицо и бросился к Поппее.

Отдернув занавеску в дверях, он увидел Поппею на ложе; лицо ее уже подернулось тусклой бледностью, глаза были за-

крыты, пальцы бессильно цеплялись за покрывало; слышны были ее слабые стоны.

Ошеломленный Нерон остановился. Смутное воспоминание мелькнуло в его уме. Он схватился за голову, и кровь, прихлынувшая к его лицу, чуть не задушила его. Он хотел повернуться и бежать, но ноги отказывались повиноваться ему; ему всюду мерещилось лицо умирающей женщины, и стон вырвался из его груди.

Поппея открыла глаза и увидела его.

– Цезарь! – пробормотала она.

Он сделал несколько шагов – и остановился, дрожа всем телом; шагнул еще раз – и опять остановился.

– Цезарь! – снова простонала она, и Нерон бросился на колени перед ее ложем.

Несмотря на агонию, искажавшую ее лицо, оно сохранило горделивое выражение. Она лежала молча, пока он рыдал, пряча лицо в пурпуровом покрывале. Наконец его; припадок утих, и она сказала, положив ему руку на плечо:

– Пизон?

– Умер! – прошептал он в ответ.

– Флавий... Руф? – почти беззвучно произнесли ее губы, и при каждом имени Нерон кивал головой.

Она приподнялась на ложе и воскликнула с поразительной ясностью:

– А Сенека?

По его опущенным глазам она угадала ответ.

– Я не хочу умереть раньше него, – простонала она. – Пусть он покажет мне дорогу.

Это усилие ослабило ее, и она упала без чувств на ложе.

Всю ночь Нерон провел на коленях подле нее. Иногда она бредила, вспоминая о Криспине, своем первом муже, об Отоне и даже о Тите, которого упрекала то нежно, то с досадой. Когда сознание вернулось к ней и Нерон хотел поцеловать ее руку, она отдернула ее, прошептав:

– Сенека!

Нерон долго колебался между странным уважением и ненавистью к своему старому воспитателю и министру. Но это был еще один человек, призывавший к его гибели.

Тигеллин донес Нерону, что главным руководителем заговора был Сенека, и в доказательство представил письмо.

Это были те самые таблички, которые Нерон и Тигеллин отняли когда-то у посланного Сенеки на Мильвийском мосту. Тигеллин обещал доставить его Бурру, которому оно было адресовано, но сохранил у себя на всякий случай. Теперь он старательно изменил письмо и поставил на нем надпись: «Субрию Флавию».

Хитрость удалась, и Нерон послал в Номентанум центуриона с роковым приказом. Он сказал об этом Поппее. Четыре часа она боролась со смертью.

Солдат вернулся уже под вечер, когда заходящее солнце бросало длинные тени поперек комнаты, Поппея потребовала его к себе. Служанки приподняли и поддерживали ее, а



Нерон стоял подле кровати.

Солдат рассказал о смерти Сенеки, о безмятежном спокойствии, с которым он встретил роковую весть, о последних минутах, когда он, истекая кровью, беседовал с плачущими друзьями. Потом он заговорил о неутешном горе Паулины и с дрожью в голосе рассказал, как она умоляла мужа позволить ей вместе с ним переселиться в неведомый мир, и, как опасаясь за ее участь, умирающий согласился на ее просьбу.

– Он умер! – воскликнула Поппея, и глаза ее заблестали.

– Он умер! – отвечал воин.

– Я была римской императрицей и погубила Сенеку! – воскликнула она и повернулась лицом к стене.

Когда центурион вышел, Нерон наклонился над ней и поцеловал ее.

Она была мертва.

### XXX

Со времени смерти Поппеи участь Нерона была решена. Последние проблески добрых чувств, здравых стремлений исчезли в нем, припадки безумия учащались; какое-то мрачное отчаяние угнетало его, и он предавался зверствам и разврату.

Казалось, он воспылал ненавистью ко всему доброму; даже Тит начинал возбуждать в нем неудовольствие: император не мог забыть, что умирающая Поппея произносила имя

Тита, ни разу не вспомнив о нем самом. Положение центуриона во дворце становилось ненадежным; наконец он решил просить императора отпустить его и в тот же день уехал на службу в легион, которым командовал его отец.

Дела во дворце шли все хуже и хуже; всякие правительственные заботы были оставлены, хищничество чиновников и правителей оставалась безнаказанным, жалованье войскам задерживалось, помощь нуждающемуся населению почти не оказывалась.

Таково было положение дел, когда прошел слух, что Галлия возмутилась и Виндекс идет на Рим. Прошло еще несколько недель; народ томился между страхом и надеждой; наконец пришло известие, что германская провинция тоже восстала. Далее узнали, что испанские легионы взбунтовались и провозгласили императором своего полководца Гальбу. Только в один прекрасный день прохожие услышали шум и движение в преторианском лагере, и вскоре волнение распространилось по всему Риму и крики: «Гальба! Гальба! Смерть комедианту!» – раздавались повсюду.

Когда известие о бунте Виндекса пришло в Рим, Нерон усердно занимался устройством органа, который должен был превзойти все известные дотоле инструменты чистотой и силой звука. Такой пустой случай, как восстание провинции, разумеется, не могло оторвать его от этого важного занятия.

Он пробормотал несколько проклятий и угроз по адресу мятежного наместника и тотчас забыл о нем. Также равно-

душно отнесся он к известию о восстании в Германии и Испании.

Орган был готов, и, когда Тигеллин явился с известием о новых бедствиях, император пробовал новый инструмент.

Однако префект понял, что угрожает нешуточная опасность, и с большим трудом упросил Нерона заняться делами.

Император предложил несколько проектов: устроить пир и отравить всех сенаторов; выпустить зверей на улицы; разрушить город; перенести двор в Александрию.

Никакими усилиями Тигеллин не мог добиться решения: император спешил вернуться к органу, и совещание кончилось припадком бешенства, заставившим Тигеллина убежать в ужасе.

Припадок продолжался всю ночь. Изредка Нерон слышал голоса Агриппины, Октавии и Пoppей, упрекавших его в жестокости. Тогда он бросался к органу, стараясь заглушить эти голоса, и рабы в отдаленных комнатах, дрожа от страха, прислушивались к нестройным звукам, разносившимся по коридорам.

Утром злой дух оставил его, и вернулась частица прежней силы и достоинства. Он послал за Тигеллином, который сообщил о приближении мятежников. Нерон холодно выслушал его.

– Ну если мы не можем царствовать, то можем пировать. – И приказал приготовить великолепный обед.

Вернувшись к органу, он строго запретил Тигеллину бес-

покоить его, что бы ни случилось в Риме.

В течение нескольких часов он услаждал свой слух музыкой, потом оделся в пурпурное платье, обвил голову гирляндой из роз и пошел в пиршественную залу.

Здесь ожидала его толпа. Это были по большей части вольноотпущенники, но среди них фигурировали и некоторые из патрициев, прокутившие свое состояние и дошедшие до того, что сделались спутниками Нерона.

Император кормил их, одевал и презирал. Как ни низко он пал сам, но все же гнушался этими людьми.

Когда он вошел в залу, поднялся крик:

– Несравненный Цезарь! Аполлон! Божественный Август!

Нерон улыбнулся и сказал:

– Благодарю, любезные гости; если бы вы могли делать людей богами, то, наверное, сделали бы меня Юпитером; а если бы я сделался Юпитером, то немедленно послал бы вас в темные бездны Гадеса.

– Что за шутка! Как остроумен наш Цезарь! – раздалось со всех сторон.

Он сел за стол, сказав:

– Надо поесть сегодня, чтобы не быть голодным завтра.

Тонкие блюда и вина сменялись одни за другими; песни и смех оглашали комнату, и веселее всех был Нерон.

Наступил вечер, ночная тень ложилась на город, когда в комнату вбежал солдат с криком:

– Спасайся, Цезарь! Преторианцы восстали и провозгла-

силы Гальбу.

Наступило мертвое молчание, и Тигеллин тревожно спросил Нерона:

– Что ты намерен предпринять, Цезарь?

– Я намерен окончить обед, – спокойно отвечал Нерон. – Достойные товарищи, тут еще много цекубанского вина. Отрываться от обеда неблагоприятно, можно расстроить себе желудок.

Собеседники его отшатнулись, услышав эту дикую шутку, и один из них вскочил и хотел убежать. Нерон заметил это и, схватив тяжелый кубок, пустил его вдогонку беглецу, который, получив удар в голову, упал.

– Рано еще! – крикнул император. – Рано еще оставлять меня. Я хочу окончить обед.

Веселье пировавших как рукой сняло; они поглядывали друг на друга с ужасом.

Клянусь двуликим Янусом, – воскликнул Нерон, – вы годитесь только для похоронного пира. Пусть кто-нибудь споет песню.

Не получив ответа, он продолжал:

– Ну, если вы онемели, я спою сам!

Еще раз явились на сцену арфа и кресло; зеленая мантия была накинута на плечи Нерона, лавровый венок возложен на его голову. Звучным, сильным голосом запел он предсмертную песню Эдипа – но он пел для глухих. Собеседники один за другим прокрадывались: из залы, и первым бежал

Тигеллин. Когда Нерон дошел до стиха: «Жена, отец, мать осудили меня на смерть», – в зале оставались только один внук, двое отпущенников и Эпафродит.

Секретарь, как оказалось, не был вполне лишен чувства благодарности; он бросился к ногам Нерона и умолял его бежать, пока солдаты не ворвались во дворец.

Нерон отбросил арфу, пожал плечами и сказал:

– Разве здесь не хорошее место для того, чтобы умереть?

Отпущенники присоединились к просьбам Эпафродита, и один из них предложил императору дом поблизости от Номентанума. Здесь, по его словам, он мог скрыться, а потом бежать к парфянскому царю, который окажет ему поддержку.

Нерон прохаживался взад и вперед по зале, напевая отрывки песен и подшучивая над людьми, которые одни остались ему верными; но наконец их просьбы подействовали на него, и он согласился бежать.

Беглецы пробрались под колоннадами, ведшими к Эсквилину; затем Нерон переоделся и сел на коня. Скоро они достигли Номентанских ворот. За стеной, направо от дороги, находился преторианский лагерь, и Нерон, проезжая мимо, слышал крики солдат. Большинство из них устроили оргию и перепились, а офицеры, не зная, что предпримет Нерон, тщетно старались восстановить дисциплину угрозами и ударами. Поминутно раздавались крики: «Да здравствует Гальба! Смерть Нерону!»

Эпафродит и остальные спутники дрожали при мысли, что кто-нибудь узнает императора. Им попался навстречу всадник, мчавшийся к городу.

– Какие новости... что Нерон? – крикнул он.

– Нерон, друг мой, готовится стать богом, – отвечал император, намекая на обычай сенаторов воздавать божеские почести умершему императору.

Всадник засмеялся, Нерон тоже, и они разъехались.

Немного далее они встретили старого солдата, который когда-то служил телохранителем у императора, и который, увидев их, хотел бежать в лагерь и известить товарищей. Нерон загородил ему дорогу и бросил повелительный взгляд на старого ветерана.

Солдат вернулся в лагерь, но не сказал, кого он встретил.

Наконец они достигли виллы отпущенника, и император, истомленный непривычной усталостью, пробрался сквозь чащу терновника и бросился на кучу хвороста, которую его друзья прикрыли своими одеждами. Они хотели скрыть его в колодце, но он отказался, говоря:

– Я не хочу быть погребенным заживо.

Тогда они пробили отверстие в стене виллы и провели его так, чтобы никто из рабов не знал о его присутствии.

На следующее утро явился вестник и сообщил, что сенат одобрил выбор войск и объявил Нерона врагом республики. Он сообщил также, что местопребывание императора открыто и отряд воинов послан в Номентанум, чтобы схватить

его.

Нерон попробовал острие своего кинжала и спросил, когда можно ожидать отряд. Узнав, что они прибудут через полчаса, он осведомился у Эпафродита, какая казнь ожидает человека, объявленного вне закона.

Секретарь рассказал ему о смерти под бичами и просил избавиться от этой муки и унижения самоубийством.

Император медлил, а Эпафродит умолял его согласиться, убеждая, что умереть вовсе не трудно.

– Если это так легко, добрый Эпафродит, – сказал Нерон, протягивая ему кинжал, – то ступай объяви Плутону о моем появлении.

Но секретарь отшатнулся. Евнух и один из отпущенников подняли крик; император пытался остановить их вопли:

– Не так визгливо, Спор, жалобнее; Фаон, ты ревешь точно бык.

Наконец, утомившись от криков, он велел им замолчать. В эту минуту послышался топот копыт.

Нерон выхватил кинжал и, взглянув на свое отражение в блестящем лезвии, сказал с иронией, плохо скрывавшей душевную муку:

– Какого артиста теряет мир!

Ближе и ближе слышался топот; наконец кони остановились, и в эту минуту Нерон вонзил себе в горло кинжал со словами:

– За Сенеку!



Он замахнулся еще раз, но рука его ослабела, и Эпафродит помог ему нанести удар, который он принял, простонав:  
– За Рим!

В эту минуту, дверь распахнулась, и в комнату вбежал Тит с толпой солдат. Он бросился к Нерону и хотел остановить кровь своим плащом. Император открыл глаза и прошептал:  
– Поздно, честный солдат!

Дрожь пробежала по его телу, и мгновение спустя он был мертв.

Тит поклонился трупу последнего из Цезарей, повернулся и вышел.

Новый правитель, из другого рода, воцарился в Золотом доме и с насмешливой пышностью торжественно сжег тело Нерона.

Народ по-прежнему веселился в цирке, где он участвовал в состязаниях, и в театрах, где он пел. Но не нашлось ни одного, кто подобрал бы его пепел, чтобы ветер не разнес его по свету.

В целом мире только Актея да Эклога горевали о нем. Они собрали его прах в урну и поставили ее в гробнице его предков на цветущем холме садов.

Однажды вечером Актея стояла на холме и смотрела на солнце, исчезающее за безбрежным морем. Она грезила о свете, который никогда не угаснет, о солнце, которое никогда не закатится, и об огне, который проникнет в глубину людских сердец. Актея грезила и была счастлива.